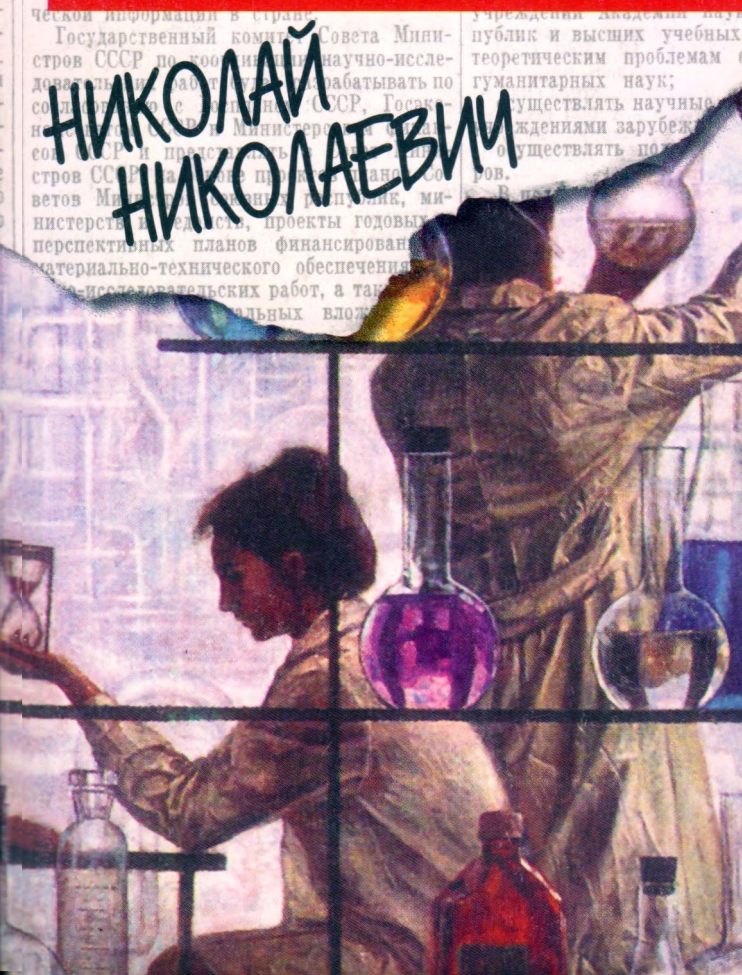


Юз Алешковский

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ



Юз Алешковский

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

МАСКИРОВКА

РУРУ



МОСКВА ВАГРИУС 2000

УДК 882-32
ББК 84Р7
А 49

*В оформлении обложки использован фрагмент картины
И. Вельхвадзе «Синтез»*

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.*

ISBN 5-264-00196-0

© Издательство «ВАГРИУС», 2000
© Юз Алешковский, автор, 2000

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

*Ирине, Ольге и Андрею — на память
о комарах, свежей треске и землянике
Рижского взморья*

1

Вот послушай. Я уж знаю: скучно не будет. А заскучаешь, значит, полный ты мудила и ни хуя не петришь в биологии молекулярной, а заодно и в истории моей жизни. Вот я перед тобой мужик-красюк, прибораклен, усами сладко пошевеливаю, «Москвич» у меня хоть и старый, но бегаёт, квартира, заметь, не кооперативная и жена — скоро кандидат наук. Жена, надо сказать, — загадка! Высшей неразгаданности и тайны глубин. Этот самый сфинкс, который у арабов — я короткометражку видел, — говно по сравнению с ней. В нем и раскалывать-то нечего, если разобраться. Ну, о жене речь впереди. Ты помногу не наливай, половинь. Так забирает интеллигентней, и фары не разбегаются. И закусывай, а то окосеешь и не поймешь ни хуя. Короче говоря, после войны освободился я девятнадцати лет. Тетка меня в Москве прописала: ее начальник паспортного стола ебал прямо на полу в кабинете. И месяц я нигде не работал.

Не хотел. Куропчил* потихоньку на садке**, причем без партнеров, и даже пропаль пульнуть*** некому. Искусство. Видишь пальцы? Ебаться надо Ойстраху. Мои длинней. И, между нами, чуял я этими пальцами, что за купюры в лопатниках или просто в карманах. Цвет ихний пальчиками брал и ни разу не ошибся. А сколько таких парчушек, которые за рупь горят или за справку из домоуправления, которую они, фраера, тянут, как банкнот в миллион долларов, столько сил тратят, на цыпочках балансируют, вытягивают, а их — за жопу и в конверт. У нас не считается, сколько спиздил, — главное не воровать. Ну ладно, куропчу я себе помаленьку. Маршрут «Б» освоил и трамвая «Аннушка». Карточки, заметь, не брал. А если попадались, я их по почте отсылал или в стол находок перепуливал. Был при деньге. Жениться собирался. Вдруг тетка говорит:

— Сосед тебя в институт к себе берет. Лаборантом будешь. Все одно погоришь. Скоро срока увеличат. Мой сказывал, а у него брат на Лубянке шпионов ловит и все знает прямо от Берии.

И правда, указ вышел. От пяти до четвертака. Я перебздел. Везло мне что-то очень долго. И специальность получить хотелось, но работать я не любил. Не могу — и все. Хоть убей. Отучили нас в лагерях работать.

* Воровал.

** Толкучка при входе, например, в вагоны.

*** Передача бумажника, кошелька и т. п. напарнику.

Пришлось идти в институт к соседу все ж таки, потому что примета такая: если перебздел — скоро погоришь.

С соседом этим мы по утрам здоровались. Он в сортире подолгу сидел, газетой шуршал и смеялся. Воду спустит и хохочет. Ученые, они все авоськой стебанутые. По-моему, он тоже тетку ебал, и, в общем, устроился я в его лабораторию. По фамилии он был Кимза, нацию не поймешь, но не еврей и не русский. Красивый, но какой-то усталый, лет под тридцать.

— Будешь, — говорит, — реактивы носить, опыты помогать ставить. Захочешь — учиться пойдешь. Как?

— Нам, — говорю, — татарам одна хуй. Что ебать подтаскивать, что ебанных оттаскивать.

— Чтобы мата больше я не слышал.

— Ладно.

2

Неделю работаю. Таскаю хуйню всякую, склянки мою, язык солью какой-то обжег в обед и дрисстал дня четыре чем-то синим. Думал, соль поваренная, а она, падла, химическая была. Бюллетень не брал однако. А то в жопу миномет вставлять бы начали, как в лагере. Чернил пузырек я тогда уделал, чтобы на этап северный не идти... В общем, работаю. Оборудую новую лабораторию. Микроскопов

до хуя, приборов, моторов и так далее. Вдруг надоело упираться. Я даже пошалил. В буфете у начальника отдела кадров лопатник из «скулы»* увел ради искусства своей профессии. И, еб твою мать, что тут началось! Часа через полтора взвод в штатском приехал, из института никого не выпускают. Генеральный шмон, и разве только в очко** не заглядывают. А все из-за чего? Я с лопатником пошел поспать, раскрыл его, денег в нем нет. Одни ксивы. То есть доносы. И на моего Кимзу тоже донос. Дескать, науку хуй знает куда отодвигает, на собрании не поет, не хлопает, голосовал с отвратительным видом и выключает легкую музыку советских композиторов. Опыты его направлены против человека, который звучит гордо, и поэтому косвенно расшатывают экономику. Понял? Четвертаком завопяло для Кимзы. Пятьдесят восьмой. Но я стукачей не люблю. Чужими доносами подтерся. По ним получалось, что весь институт — сплошной заговор осинового гнезда, а значит, и я в том числе? Донос на Кимзу я из сортира вынес. Лопатник мойкой*** расписал на части и в унитаз бросил. Дверь кто-то дергает, орет и бушует. Я вышел, объяснил, что химией обхавался и что дверь не зуб — не хуя ее дергать.

— Смотрите, — говорю Кимзе, — ксива на вас. Он прочитал, побледнел, поблагодарил

* Боковой карман.

** Анус.

*** Бритва.

меня, все понял — и хуяк бумажку в мощнейшую кислоту. Она у нас на глазах растворилась к ебени бабушке. Тут меня дергают к начкадрами. Я, разумеется, в несознанке.

— Не такие, — говорю, — портные шили мне дела, и то они по швам расползались на первой примерке!

— Показания есть, что ты сзади в очереди терся. Может, старое вспомнил?

— Ебал я эти показания. Много ли там денег-то хоть было?

— Денег совсем не было.

— Ну, тогда бы я на такое говно никогда не позарился.

Штатские посмеялись. Отдохнули, видать, с моим простым языком и отпустили.

Назавтра говорю Кимзе, что работать не буду. Принципиально я не рабочий, а артист своего дела. Я, говорю, на тахте люблю лежать и хавать книжки. Тут он странно так на меня посмотрел и, главное, долго и начал издалека насчет важности для всего человечества евонной науки — биологии и что он начинает опыты, равных которым не бывало. Одним словом, эксперимент. И я ему необходим. И что работа эта благодарная и творческая. Но самое интересное, что она и не работа, а одно удовольствие, причем высокооплачиваемое. Только без предрассудков к ней отнестись надо и с мыслью о будущем человечества. Он чаще всего на это дело напирал.

— Слушай, сосед, — говорю, — не еби ты мне мозгу, о чем речь-то?

— Ты должен стать донором.

— Кровь, что ли, сдавать?

— Нет, не кровь.

— Что же, — смеюсь, — говно или ссаки?

— Сперма нам нужна, Николай. Сперма!!!

— Что за сперма?

— То, из чего дети получаютсЯ.

— Какая же это сперма. Это — малофейка.

Малофья, по-научному.

— Ну пусть малофья. Согласен сдавать для науки? Только не пугайся. Позорного в этом ничего нет. Кстати, полнейшая тайна тебе гарантируется.

— А ты сам чего не сдаешь? — подозрительно спрашиваю.

Он нахмурился:

— Могут обвинить в выборе объекта исследования по родственному признаку. Давай соглашайся.

Тут я сел на пол и стал хохотать. Ни хуя себе работа! Чуть не обоссался, и аппендицит заболел.

— Ржешь как болван. Сядь и послушай, для чего нам нужна твоя сперма, — сказал Кимза.

Шутки шутками, а я прислушался, и оказалось, что план у Кимзы таков: я дрочу и трухаю, что одно и то же, а малофейку эту под микроскоп будут класть и изучать. Потом попробуют ввести ее в матку бесплодной бабе и

посмотрят, попадет она или нет. Тут я его перебил насчет алиментов в случае чего. Заделаешь штукам пяти, а потом шевели рогами в получку.

— Это, — говорит, — пусть тебя не волнует. И еще у него имелись совершенно тайные планы для моей малофейки. Обещал их рассказать, как только приступим к опытам. И веришь, встал мой сопливый от этих разговоров — хоть сейчас начинай! А это мне не впервой. В лагере каждый сотый не трухает, а остальные девяносто девять дробят, как сто. Все дело в том, чтобы морально не переживать. Другой подрочит и ходит три дня как убитый, от самопозора страдает. И на всю жизнь себя этим переживанием калечит. Знал я Мильштейна Левку — мошенника. Отбой, кожаные движки начинают работать, а Левка зубами скрипит, борется с собой и затихает постепенно. Я его успокаивал.

— Организм требует, и нечего над ним издеваться. Он ни при чем. Не будь ему прокурором!

Ну ладно. Задумался я и спрашиваю Кимзу про условия. Сколько раз спускать? Какой рабочий день, оклад и название должности в трудовой книжке?

— Оргазм ежедневно по утрам, один раз. Оформим тебя техническим референтом. Оклад по штатному расписанию. Рабочий день не нормирован. Восемьсот двадцать рублей. После оргазма — в кино.

Я виду не подал, что удивился и даже охуел. Приду, думаю, струхну — и на трамвай «Аннушка» да в троллейбус «Букашку». В случае если погорю — смягчающее обстоятельство: работаю в институте. В общем, согласился. Вечером сходил к старому международному урке. Высшего класса был вор, пока границы не закрыли на Карацупу и его верного друга Ингуса.

— Ты, — говорит урка, — счастливчик и везунчик. Но продешевил. Ведь струхня дороже черной икры стоит. Почти как платина и радий. Пиздюк официальный ты! Я бы этим биологам поштучно свои живчики продавал. На то им и микроскопы дадены — мелочь подсчитывать. Поштучно, блядь! Понял?

— Понял, как не понять. Жопа я и вправду. Ведь живчик — это самый наш цимес. И на здоровье частая дрочка дурно повлияет. Не бзди, — говорю я урке, — цену я постепенно подниму. Не фраер.

— Жалко вот, нельзя разбавить малофейку. Ну, вроде как сметану в магазине. Тоже навар был бы, — говорит урка.

— Еб твою мать! — по лбу себя стучаю. — Я придерживать буду при спуске. А потом с понтом вторую палку сверх плана выдам!

— Не советую, — серьезно так говорит урка, — нельзя прерывать половые сношения хотя бы и с Дунькой Кулаковой. Вредно. Я од-

ну бабу из-за этого разогнал. Только и вопила: «Кончай куда-нибудь в другое место!» «Может, в среднее ухо?» — спрашиваю. «Все равно куда, лишь бы не в мутер!» У меня, блядь, на этой почве на ногах ногти почти перестали расти. Веришь? Пришлось разогнать ее. Так что уж кончай по-человечески. Тащи бутылку с полочки. Да! Сдери с них молоко за вредность и скажи, что тех, которые кровь сдают, кормят бациллой* после сдачи. Не будь фраерюгой. В Америке пять раз струхнешь — и машину покупаешь. Понял?

4

Ну, прихожу утром на работу, стараюсь, чтобы не смеяться. Стыдно немного, а с другой стороны — хули, думаю, краснеть? Пускай ебучее человечество пользуется. Может, на пользу ему еще пойдет... Смотрю, а для меня уже хавирку маленькую приготовили, метра три с половиной, без окон. Лампа дневного света. Тепло. Оттоманка стоит. На стуле пробирка.

— Ну вот, Николай, твое рабочее место, — говорит Кимза.

— Только договоримся — без подъебок, — отвечаю. Тут Кимза и велел мне не развивать в себе какой-то комплекс неполноценности, а наоборот, гордиться.

— Располагайся. Приступай, как только я

* Жиры, мясо и т. п.

скомандую: внимание — оргазм! После оргазма закрой пробирку пробкой.

— Чтоб не разбежались?

— Работать быстро и без потерь! Читал объявление?

Я закрылся, прилег, задумался, вспомнил, как в побег ушли мы с кирюхой в бабский лагерь и переебли там всех вороваяк, а те, кому не досталось, все больше фашистки и фраерши, трусы с нас содрали и на части их разодрали, чтобы хоть запах мужской иметь под казенными одеяльцами. Вспомнил, а сопливый уже, как кобра под дудку, головой в разные стороны поводит. Я тогда ебся редко, сразу струхнул. Полпробирки. Целый Млечный путь, как говорил мой сосед по нарам, астроном по специальности. На него дружок стукнул, что он Землю как планету в рот ебет, если на ней происходит такая хуета, что ни в какие ворота не лезет. Прости, отвлекся, несу пробирку Кимзе.

— Ого, — говорит, — посмотрим. — И размазал немного на стеклышке, а остальное в какой-то прибор сунул, весь обледенелый и пар от него валит.

Посмотрел Кимза в микроскоп и глаза на меня вытарацил. Словно по облигации выиграл.

— Ну, Николай, — говорит, — ты супермен! Сверхчеловек! Невероятно! Почему — не спрашивай. Потом поймешь. Я тебя поднатаскаю в биологии.

— Посмотреть-то можно?

— В другой раз. Сейчас иди. До завтра.

Ну, я вежливо говорю, что в Америке дорожке платят и питаться надо после каждой палки от пуза, а то подрочу с неделю, и вся наука остановится: кончится моя малофейка.

— А что бы ты хотел иметь из закуски? Учти, что с продуктами сейчас трудно. Вся страна, кроме вождей и главмагов, голодает.

— Мяса грамм двести, — говорю, — хлеб с маслом. Можно семечек стакан. Чаю покрепче.

— Зачем же семечки? — спросил Кимза. Я и отвечаю, что во время дробки другой рукой можно от скуки грызть семечки.

— Семечек не будет, — разозлился Кимза. — А насчет мяса похлопочу. Мой шеф — академик-вегетарианец. Возьму его карточку. Он огромное значение тебе придает.

— И зарплату увеличить надо. Из своего кармана, что ли, платишь?

— Увеличим. Вот организую лабораторию, ставок выколочу побольше и увеличим. Хорошо будем платить за твою малофейку. Злая она у тебя, Николай. Ну иди, а то у меня твои живчики передохнут. Вахтеру скажи: наряд на осциллографы идешь получать.

— На чернуху я мастер. Не бздите.

Иду по институту, и первый раз в жизни совесть во мне заговорила. Ишачат все эти доктора, кандидаты и лаборанты, а я подрочил себе в удовольствие — и готов. Домой

иду. Неловко как-то. А с другой стороны, малофейка науке нужна и всей стране, значит. Я аккордно работаю. Вот только на дремоту меня повело после дочки. И воровать лень. Пошел я в бар пиво пить и раков хавать с черными сухариками. Кстати, учти, от пива стоит, надо лишь думать о бабе после пяти кружек, а не насчет поссать. Как поссишь, так стоять не будет. Как же не поссать, говоришь? Внушать себе надо уметь. Вот которые в Индии живут, даже не срут по месяцу и больше, а ссаки в пот превращают и в слезы. Я так полагаю, что по-научному, по-нашему, по-биологицки, кал, то есть говно, у этих йогов в запахах превращается. Ну вот, скажем, спирт. Не закроешь, он и выдохнется. Только спирт быстро выдыхается, а говно долго, в нем, в говне, молекула совсем другая, и очень вонючая, гадина такая. А уж про атом говенный и говорить нечего. Он, блядюга, и не расщепляется, наверное, в синхрофазотроне. Между прочим, спрошу у Кимзы, что будет, если он расщепится. Верняк — мировая вонь поднимется до облаков... Ты пей! Спиртяга — высшей чистоты. Мне на месяц два литра выдают, муде перед оргазмом дезинфицировать. Ну а я как советский человек экономию навожу. Ведь как дело было. Кимза всем остальным выдает спирт, а мне — нет. Ну уж хуюшки, думаю себе, и в пробирку к малофейке грязь наскреб с каблука. Я не фраер. Кимза сразу тревогу забил:

— Почему живчики не стерильны? Почему они чумазые? Руки трудно вымыть донору?

— Надо, — говорю, — при опыте не руки мыть, а член — орудие производства. Он, небось, в штанах, а не в безвоздушном пространстве. Мало ли где за сутки побывает.

— Сколько тебе спирту надо? — нахмурился Кимза.

— Два литра, — говорю.

— Многовато. Триста грамм хватит.

Тут я доказал, что, прежде чем за хуй браться, нужно все пальчики обтереть на обеих причем руках, я ведь руки меняю, а заодно и пах стерилизовать, так сказать.

— Хорошо. Литр ему выпишите на месяц, — велел Кимза.

— Э-э! — уперся я. — Не пойдет так дело. Литр — это в расчете на член лежачий, в самом лежачем виде, как, допустим, после холодного моря Гагров, а на стоячий надо в три раза больше. И я еще по совести прошу. Я, блядь, самое ценное в себе отдаю людям! Я бы в Америке давно уже дачу имел на курорте, «Линкольн» и другую недвижимость. И я, блядь, не мертвые души государства забиваю, как Чичиков, а свежую свою родную сперму. А потому и нечего на мне экономию разводить! Я — человек! Ты меня залей спиртом, и я его сам первый пить не стану. А то подъебывает каждая падла, что я член при жизни заспиртовать решил. Мандавошки! Если бы не я, вы бы не диссертации защища-

ли, а свои жопы на летучке у директора. На моем хую держитесь! Учреждение наше — НИИ — склочное, и порядку в нем нету. Не то что в тюрьме или в БУРе. Я сроду не стучал, но если вы, змеи, зажмете спиртыгу, ей-богу, стукну в партком, местком и профком!

— Хорошо. Два литра, — сказал Кимза. — И ни грамма больше! — И скомандовал в лаборатории: — Внимание — оргазм!

Вот я, кирюха, и со спиртыком. Даже рационализацию устроил: протираю лежачий, а не стоячий, и премию за это даже получил... Будем здоровы! Ты хавай. Эту севрюгу и красную икру я специально для тебя сегодня оставил. Ну так вот. Черную, между прочим, я не уважаю. У меня диатез от нее. Жопы идет пятнами, чешется ужас как, и кальций надо пить, а он, сволочь, горький очень. Ну так вот. Об такой закуске тогда еще и мечтаний не было.

5

Хожу я, значит, по утрам в институт, номерок вешаю и с Машками не путаюсь, потому что боюсь лично наебаться и по сдаче спермы фуфло двинуть*, как сейчас говорят, крутануть динамо. Привык. Решил Кимзе ультиматум предъявить.

— Ты, — говорю, — на работу простую энергию тратишь, а я самую главную, и я, — говорю, — когда кончу, на ногах еле стою и

* Обмануть

под ложечкой тянет. Может, мне и жить-то еще лет пятнадцать, а вам, сукам, гужеваться!

А у Кимзы опыты пошли успешно, он иногда шутил даже поставить памятник моему члену заводной. Чтобы он вставал с первыми лучами солнца. В старину такие были памятники. Но их снесли. Застеснялись. А кого застеснялись? Ведь член, кирюха, если разобраться, самое главное. Главней мозгов. Мы же лет мильён назад не мозгами ворочали, а хуями. Мозги же развивались. Да если бы не так, то и ракета была бы не на хуй похожа, а на жопу, и из нее только бы вонь и грохот шли. Сама же не то что до Луны... В общем, хули говорить. Помни мое слово, вот увидишь! Когда мозге больше некуда будет развиваться, настанет общий пиздец. Стоять не будет по тем временам даже у самых дураков, вроде нас с тобой. Все будут исключительно давать дуба, а в родильных домах и в салонах для новобрачных пооткрывают цветочные да венковые магазины. А на улицах под ногами стружка будет шуршать: столярные работы начнутся. Ладно! Хули ты шнифты раскрыл? Нескоро это еще, и общий пиздец все равно не состоится. Но об этом речь впереди... Я и говорю Кимзе:

— Набавляй. Мне и приборохлиться надо, и телевизоры скоро выпускать начнут, а то опять воровать пойду или на водителя трамвая «Букашка» учиться. Хоть из своего кармана выкладывай, и частным образом буду тебе

живчиков толкать. Две тыщи с половиной хочу получать.

— Хорошо. Уволим двух уборщиц. Оформим тебя по совместительству.

— Ну уж, ебу я такой труд на половых работах!

— Ты будешь числиться, а убирать будут другие лаборанты. Ясно?

— Это другое дело.

— Аппетиты твои растут, надо сказать.

— Что-о-о, курва? — говорю. — Хочешь, чтобы я женился?

— Ну-ну! Не бесись. Мне ведь и десять тыщ на тебя не жалко. Вот получу если Нобелевскую премию — отвалю приличную сумму. А сейчас времена в нашей науке сложные и тяжелые. Дай бог опыт до конца довести! Завтра начнем.

Ну, я обрадовался! Две чetyреста! Хуй на автобусе заработаешь, не то что на «Букашке».

6

И пошел я на радостях в планетарий. Сначала поддал, конечно, как следует. Я люблю это дело. Садись под легкой балдой в кресло, лектор тебе чернуху раскидывает про жизнь на других землях и лунах, а ты сидишь себе, дремлешь, а над башкой небо появляется, и звезды на нем, и все планеты, которые у нас в стране не видны, например, Южный

Крест, и, чтобы его увидеть, надо границу переходить по пятьдесят восьмой статье, которая мне нужна, как пизде будильник. Вот мигают звездочки и созвездия разные, и небо — чернота сплошная — тихо оборачивается, а ты, значит, под легкой балдой в кресле, вроде бы один на всей Земле, и ни хуя тебе, твари жалкой, не надо. И вдруг светать начинается. Пути Млечного не видать, розовеет по краям. Хитрожопый такой аппарат! Потом часы бьют — бим-бом. Зеваю шесть часов. Скорей бы утро — и снова на работу. Слава богу, думаю, что не на нарах лежу и не надо, шелюмку похлебавши, пиздячить к вахте, как курва с котелками... Поддал я еще в баре на радостях от прибавки и попер к бывшему международному урке, а у него в буфете хуй ночевал. Пришлось бежать в гастроном. Ну, захмелел урка, завидует мне и хвалит, и велит не трепаться, чтобы не пронюхал всякий хмырь — студент.

— Бойся, — говорит, — добровольцев. Их у нас до хуя и больше.

Я тоже накирлялся в сосиску. Утром проспал, бегу, блядь, а в башке от борта к борту, как в кузове, жареные гвозди пересыпаются. Кимза на меня полкана спустил, кричит:

— Вы задерживаете важнейший опыт!.. Внимание — оргазм!

А около прибора, от которого пар идет, академик бегаёт в черной шапочке и розовые ручки потирает. Запираюсь в своей хавирке, включаю дневной свет. Рука у меня дрожит,

хоть бацай на балалайке, а кончить никак не могу, дрочу, весь взмок. В дверь Кимза стучит, думает, я закемарил с похмелья, и спрашивает:

— Почему оргазм задерживается? Безобразие!

У меня уже руки не поднимаются, и страх подступил. Все! Увольняйте, бляди, без выходного пособия! Пропала малофейка. Пропала моя малофейка! Открыл дверь, зову Кимзу:

— Что хочешь делай. Сухостой у меня. Никак не кончу.

Академик просунул голову и говорит:

— Что же вы, батенька, извергнуть не можете семечко?

Я совсем охуел и хотел сию же минуту по собственному желанию уволиться, и тут вдруг одна младшая научная сотрудница Влада Юрьевна велит Кимзе и академику:

— Коллеги, пожалуйста, не беспокойте реципиента. — То есть меня. Закрывает дверь. — Отвернитесь, — говорит, — пожалуйста.

И выключает свет дневной. И своей, кирюха, собственной рученькой берет меня вполне откровенно за грубый, хамский, упрямую сволочь, за член... и все во мне напряглось, и словно кто в мой позвоночник спинной алмазные гвоздики забивает серебряным молоточком и окунает меня с головы до ног в ванну с пивом бочковым, и по пене красные раки ползают и черные сухарики плавают. Вот,

блядь, какое удовольствие было! Не знаю даже, сколько времени прошло, и вдруг чую: вот-вот кончу, и уже сдержать себя не мог, закричал зубами, изогнулся весь и заорал... Потом уж рассказывал Кимза, что орал я секунд двадцать, и аж пробирки зазвенели, а осциллографа лампочка перегорела от моей звуковой волны. Сам же я полетел в обморок, в пропасть.

Открываю глаза. Свет горит, ширинка застегнута на все пуговицы, в голове холодно и тихо, и вроде бы набита она сырковой массой с изюмом. Очень я ее уважаю. Никакого нет похмелья. Выхожу в лабораторию. На меня зашикали. Академик над прибором, от которого пар валит, колдует и напевает: «...А вместо сердца пламенный мотор...» Ну как себя не уважать в такую минуту. Я и уважал. Вдруг что-то треснуло, что-то открыли, гайки скинули, академик крикнул: «Ура!» — подбежал ко мне, руку трясет и говорит:

— Вы, батенька, возможно, прародителем будете вновь зарождающегося человеческого племени на другой планете! Каждый ваш живчик пойдет в дело! В одном термосе — народ! В двух — нация! А может, наоборот. Сам черт не разберется в этих сталинских формулировках. Поздравляю! Желаю успеха. — И убежал.

Я ни хуя не понимаю. Влада Юрьевна смотрит на меня, вроде и не она дрочила, а оказывается, вот что: мою наизлющую мало-

фейку погружали в разные жидкие газы, замораживали, к ебаной бабушке, в камень, ну и оттаивали. Оттают и глядят: живы хвостатые или нет, а в них гены затасованы. Никак не могли газ подобрать и градусы. И вот — подобрали. И что же? Ракет тогда не было. Но Кимза мечтал запустить мою малофейку на Андромеду и — в общем, я в этом деле не секу — посмотреть, что выйдет. Понял? Ты ебало не разевай. Еще не то услышишь. Они бы попали на Андромеду и в стеклянном приборе, как в пузе, забеременели бы. Через девять месяцев — раз, и появляются на планете Андромеда живехонькие Николаи Николаичи! Штук сто сразу, и приспособляются, распиздяи, к окружающей среде. Не веришь? Мудило! А ты купи карпа живого, заморозь, а потом в ванну брось. Он же и оживет. А-а-а! Хуй на! Чтоб не падал от удивления. Так вот, возвращается академик. Хотя нет! Сначала я говорю:

— Дайте хоть взглянуть краем глаза на этих живчиков.

Пристроил я шнифт к микроскопу. Гляжу. А их видимо-невидимо. Правда, что народ или нация. И каждый живчик в ней — Николай Николаевич. Надо бы, думаю, по бабе на каждого, но наука еще додумается. Вот приходит академик и говорит:

— Вы, Николай-батенька, уж как-нибудь сдерживайте себя, не рычите, не орите при оргазме, а то уж по институту слух пополз,

что мы вивисекцией здесь занимаемся. А времена знаете какие? Мы — генетики — без пяти минут враги народа. Да-с. Не друзья, а враги. Сдерживайте себя. Трудно. Верю. Но сдерживайте. Скрипите хотя бы зубами.

— Это, — говорю, — нельзя. От зубного скрипа в кишке глисты зарождаются.

— Кто вам, милый вы мой, это сказал?

— Мамадя еще говорила.

— Кимза! Подкиньте эту идею Лепешинской. Пусть ее молодчики скрипят зубами и ждут самозарождения глистов в своих прямых кишках. По теории вероятности успех обеспечен. А еще лучше — вставьте им в анусы по зубному протезу... Шарлатаны! Варвары! Нахлебники! Враги народа!

Тут академик закашлялся, глаза закатил, побелел весь, трясется, вот-вот хуякнется на пол, а я его на руки взял.

— Не бздите, — говорю, — папаша, ебите все в рот, плюйте на солнышко, как на уютюг, разглаживайте морщины!

Академик засмеялся, целует меня.

— Спасибо, — говорит, — за доброе, живое слово, не буду бздеть, не буду! Не дождутся! Пусть бздит неправый! — Он это по-латински добавил.

Кимза тут спирт достал из сейфа. Я закусон приволок свой донорский, ну мы и ебнули за успех науки. Академик захмелел и кричит, что не страшна теперь человечеству всемирная катастрофа и что если все пиздой накро-

ются и замутируют, то моя сперма зародит нового здорового человека на другой планете, а интеллект — дело наживное, если он вообще человеку нужен, потому что хули от него, кiryоха ты мой, толку, от интеллекта этого? Ты бы посмотрел, как ученые хавают друг друга без соли, блядь, в сыром виде, разве что пуговички сплевывают. А международное положение какое? Хуеватое. Вот какое! У зверей небось, львов там или шакалов, даже у акул, нету ведь международного положения, а у человека есть. Из-за интеллекта. Ладно. Прости за лекцию. Пей. А радиация, блядь! Из-за этой радиации, знаешь, сколько нас импотентами стало? Хорошо — у меня иммунитет от нее, суки позорной.

7

Короче, прихожу на другой день или после воскресенья, ложусь в хавирке на диванчик, а член не встает. Дрочу, дрочу, а он не встает. От рук отбился, гадина, совсем. Заелся, пропадалина. А дело было простое — я ведь все воскресенья про Владу Юрьевну мечтал, сеансов набирался, влюбился, ебитская сила. Но работать-то надо! Кимза орет без толку: внимание, товарищи, — оргазм! Опять занервничал. И представь, Влада Юрьевна говорит, что, мол, у меня теперь какой-то стереотип динамический в голове образовался и придется ей снова вмешаться. Я от этих слов чуть не

кончил. Села она, кирюха ты мой, опять рядышком и пальчиками его... а-а-ах! Закрываю глаза, лечу в тартарары, зубами скриплю, хуй с ними, с глистами, а в позвоночник мой по новой забиваются, загоняются серебряным молоточком алмазный гвоздик за алмазным гвоздиком. Ебс! Ебс! Ебс! И по жилам не кровь течет, а музыка. И веришь, ногти чешутся на руках и на ногах так, что, как кошка в течку, все охота царапать, царапать и рвать на кусочки. Тебя пиздячило когда-нибудь токком? Триста восемьдесят вольт, ампер до хуя и больше, в две фазы? А меня пиздячило. Так это все мура по сравнению с тем, когда кончаешь под руководством Влады Юрьевны. Молния, падла, колен в двадцать ебистосит тебя между большими полушариями, не подумай только, жопы, — головы! И все! Золотой пар от тебя остается, испарился ты в дрожащую капельку, и страшно, что рассыпались навсегда все двадцать розовых колен родной твоей молнии. Выходит дело, я опять орал и летел в пропасть. Кимза ворвался. Бешеный, белый весь, пена на губах, заикается, толком сказать ничего не может, а Влада Юрьевна ему и говорит, спиртом рученьки протирая:

— Опыты, Анатолий Магомедович, будут доведены до конца. Не теряйте облика ученого, так идущего вам. Если Николай кричит, то ведь при оргазме резко меняются параметры психологического состояния и механизмы торможения становятся бесконтрольными.

Это уже особая проблема. Я считаю, что необходимо строить сурдобарокамеру. И заказать новейшую электронную аппаратуру.

Ты бы посмотрел на нее при этом. Волосы мягкие, рыжие, глаза спокойные, зеленые, и никакого блядства на лице. Загадка, сука. Тот и оно-то. А у Кимзы челюсть трясется и на ебале собачья тоска. Если бы был маузер — в решето распатронил бы меня. Блядь буду, человек, если не так. Ну, и я не фраер, подобрался, как рысь магаданская, и ебал я теперь, думаю, всю работу, раз у меня любовь и второй олень появился на голубом горизонте.

— А вас, Николай, я прошу не пить ни грамма еще две недели. Чтобы не терять времени при мастурбации. У нас его мало. Лабораторию вот-вот разгонят, — только и сказала Влада Юрьевна и вышла, лапочка. Кимзе я потом говорю:

— Чего залупился? Давай кляпом рот затыкать буду.

— А без кляпа не можешь?

— Ты бы сам попробовал, — говорю.

Он опять побелел, но промолчал. А у меня планы наполеоновские. Дай, думаю, разузнаю, где живет Влада Юрьевна. Подождал ее на остановке, держусь на расстоянии, когда сошли. Темно было. Она идет под фонарями в черном пальто-манто, ноги, как колонны у Большого театра, белые, блядь, стройные, только красиво сужаются книзу, и у меня стоит, как новый валяный сапог, а я без пальто, в

кепчонке с Дубинского рынка. Кое-как отогнул хуй влево, руку в кармане держу, хромаю слегка. Зашла она в подъезд. Смотрю — по лесенке не спеша поднимается, и коленка видна, когда ногу ставит на ступеньку. Пятый этаж... ушла... А у меня в глазах: нога ее и коленка, ох, какая коленка, кирюха ты мой! Вдруг легавый подходит и говорит:

— Чего выглядываешь тут, прохиндеина?

— Нельзя, что ли?

— Ну-ка, руку вынь из кармана! Живо!

— Да пошел ты! На хуй соли я тебе насыпал? — Как же я руку-то выну? Неудобно, думаю.

— Р-руки вверх! — заорал легавый. Смешюсь. — Руки вверх, говорю! — И правда дуру достает и дуло мне между рог ставит. Я испугался, руки поднял, а хуило торчит, как будто в моем кармане «максим»-пулемет.

Легавый ахнул, дуло к сердцу моему перевел и за хуй цап-царап.

— Что такое?! — растерянно спрашивает.

— Пощупай получше и доложи начальству, — говорю. — Убедился?

— А документы есть? — Дуру легавый в кобуру спихнул сразу.

— Только член, — отвечаю.

— Чего он у тебя... того?... Стоит на улице?

— Любовь у меня. Вот и стоит.

— Иди уж, дурак. Весь в комель уродился. Увидел, что ль, кого?

Посмотрел легавый, голову задрал, нету ли

где в окне голой бабьей жопы по случаю, и ушел с досадой. А я сел на краешек мостовой, напротив, и гляжу, как стебанутый мешком с клопами, на дом Влады Юрьевны. Любовь, бля, это тебе, кирюха, не червонец сроку. Это, бля, пострашней и на всю жизнь. От звонка до звонка. Ох, как я тогда мучился! Вроде бы кто гвозди мне под ногти загонял! Ты не думай, что в ебле дело было. Мне бы просто так смотреть на лицо ее белое без блядства, на волосы рыжие и глаза зеленые. А руки? Рук таких больше нет ни у кого! Вот с чем бы тебе, мудило, сравнить их? Вот представь, стоишь ты босиком на льдине. Семь ветров дуют в семь твоих бедных дырочек. У мужчин, дубина ты, семь, а у баб восемь. На одну дырочку больше, а сколько шухера! В душе, в общем, сквозняк, и жизнь твоя, курва, кажется чужой зеленой соплей. Харкотиной, более того, а вокруг тебя конвой в белых полушубках и горячие бараньи ноги хавают — обжигается. Дрожишь, говнюк? А ты выпей! Вот так. И вдруг... вдруг нету ни хуя, ни конвоя, ни чужих горячих бараньих ног, а теплый песочек и пальмы, чтоб мне твое сердце пересадили. А под пальмами шоколадные бабы, и одна, самая белая, подходит и намазывает тебе бесплатно на муде целую банку розового крема, не для бритья, а в пирожные эклер который помещают. Приятно? Но приятно что! И так тебя быстро перевели из одной окружающей среды в другую, словно бы из карцера в боль-

ничку, что ты в это не веришь ни хера и орешь от страху — и хуякс в обморок. А ты не горюй. Попадаешь еще по обморокам. Попадется тебе баба, вроде Влады Юрьевны, и попадаешь. Ты малый температурный: в залупе — ртуть. Только тебе чего надо? Тепла! Паечку тепла, законную и кровную. Хули ты ко мне с обмороками пристал? Что я, профессор, что ли? «Почему? Почему?» Еб твою мать! Раскинь шарики-то свои! Ведь из мужиков редко кто падает в обмороки. Все больше бабы. И какие бабы? Простые. Работяги. Не только асфальтировщицы. Мудак ты все-таки! А и кассирши, и бухгалтерши, и в химчистке которые блевотину нашу принимают, и воспитательницы из яслей, и продавщицы, особенно зимой, если на улице овощи продают, фрукты и мороженое, и со стройки бабы, и с мясокомбината, и из всяких фабрик и мастерских. Ведь как дело обстоит? Вроде бы за день наебешься на работе так, что только пожрать — и набок, и намерзнешься, и жопу отсидишь, и руки ноют, и глаза болят, если баба чертежница. А на самом деле в чем секрет-то? Или муж или ебарь кидает простой такой бабе палку, и она, милая, как на другую планету переносится, я ж тебе не раз разжевывал, дубина ты врожденная. Вот летчик, в пике когда входит, тоже обморок чувствует. И космонавты, пока не вырвутся из нашей вонючей атмосферы. Перегрузки, значит. Вбей это себе в голову. И в ебле, при палке, тоже перегрузки

наступают уму непостижимые и телу невозможные. И все в этот миг сгорает к ебаной бабле: и заботы, и ломота, и что за квартиру не плачено, и что какая-то мандавша чулок порвала в автобусе, а ему в паре с другими пять рублей цена — полтора дня работы... Все забывается, еще раз подчеркиваю. Все, что ебет за день нашу работающую женщину... А вот, приблизительно, миллиардерши — те не то чтобы в обморок хрякнуться, но и вообще кончать не могут, скажу я тебе официально. Разберем почему. Неверящему Антропу — хуй в жопу. Я тебе логикой между рог вдарю. Слышал про кино Муссолини «Сладкая жизнь»? Там это дело показано. Или про кинозвезд читал? По пять раз замуж выходят. Разве побежит баба от мужика, если он ее в космос выводит? Если она под ним помирает, травиночка, от счастья? Ни в жисть! И эта самая жисть устроена хитрожопо. Раз тебе на обед какаду, леденцами набитые, и шашлык из муравьеда, и лакеи в плавках шестерят, а в шкапе шуб, что в комиссионке, и три машины внизу, да в каждой шофер с монтировкой до колен, только позвони — прибежит и влупит, то от всего этого избытка ты в обморок не упадешь и совсем не кончишь. Захавались. Отсюда хулиганство в крови и легкие телесные повреждения. Бывают и тяжелые. Она кончить не может и начинает миллиардера кусать, а он, паскудина, не орет: ему приятно. Потом сам ее кусать начинает, рычит от удо-

вольствия, ну и до блевотины надоедят друг другу. Развод. Или миллиардер идет смотреть, как баба под музыку раздевает сама себя. Они зачем это смотрят? А вот зачем. Если ты мужик нормальный и баба перед твоим носом платице — влево, комбинацию — вправо, лифчик — фьюить, штанишечки — в сторону, а прожектор голубой светит ей прямо в собранную муфточку, а розовый в сиськи, то не знаю, как ты, кирюха, а я бы — клянусь, пусть мне твое сердце пересадят, если вру, — помчался бы по черепам на сцену, и пока мне полиция крутит руки, бьет дубинкой по башке, свистит, гадина такая, газы в глаза пускает, а я пилю и пилю этот стриптиз, пока не кончу. А когда кончу, вези меня в черном «форде» на суд. И на ихнем суде я скажу в последнем слове:

— Поскольку горю с поличным — сознаюсь. Уеб! И правильно! Не раздевайся на моих глазах. Ты мне не жена! Всегда готов к предварительному тюремному заключению!

Вот как поступит здоровый русский человек, который против разврата. А миллиардеры, знаешь, зачем на стриптиз ходят? Потому что можно эту бабу не ебать. Они рады, что закон запрещает забираться на сцену. А здоровый мужик туда не пойдет. Яйца так опухнут от сеанса, что до Родины враскорячку добираться придется. Ну, теперь все тебе ясно? Откуда я все это знаю? В сорок четвертом с одной бабой жил в лагере. Жена директора

дровяной базы. С дровами-то вшиво в войну было, ну он и нахапал миллионы. А она, миллионерша, полхера у него откусила без смягчающих обстоятельств. Ее посадили, а его вылечили и сказали:

— Поезжай на фронт. Развратничаешь, сволочь, когда всенародная кровь льется!

Так что миллионы выходят боком, как видишь. Вопросы есть? Да. И с кассиршей я жил, и с завхимчисткой, и с поварихой. Ты лучше спроси, с какой профессией я не жил. Разве что с вагоновожатой трамвая «Аннушка». Даже с должностями я жил, не то что с профессиями. Да. И все в обморок падали. Бывало по многу раз. Почему же ты не веришь в эти обмороки? У тебя же логика в башке не ночевала! Докажу. Замечал, что в аптеках нашатырного спирта часто не бывает? Почему, думаешь? Нет, его не пьют, а нюхают, он при обмороках помогает. А они когда бывают? При оргазмах! Или ваты нету ни в одной аптеке? Значит, у всех в один день месячные появились. По теории вероятности так выпало. Анализ надо привыкать делать. Помнишь, лезвий было нигде не достать? Это китайцы стаю мандавошек перекинули к нам через Амур. Пришлось все вплоть до бровей брить, а я же не стану после мудей этим лезвием скоблить бороду? Перерасход вышел по лезвиям. Логикой думать надо, одним словом, и хватит мне мозгу засирать!.. Налей боржомчику. У меня изжога от твоей тупости. Любя

говорю. На чем остановились? Да. Влюбился я. Въебурился по самые уши.

8

На другой день Кимза на меня волком смотрел, не разговаривал, а Влада Юрьевна цыганским своим голосом спросила:

— Может быть, сегодня, Николай, вы сами? А я подготовлю установку.

— Конечно, — говорю.

Запираюсь в хавирке, жду команды: внимание — оргазм! Думаю о Владе Юрьевне. И у меня с ходу встает. Тут она постучала, просовывает в дверь книжку и советует:

— Вы отнесите к мастурбации как к своей работе, исключите начисто сексуальный момент, как таковой. К примеру, мог бы дядя Вася работать в морге, если бы он рыдал при виде каждого трупа?

Логикой она меня убедила, хотя я подумал, что как же это так, если исключить сексуальный момент? Ведь тогда и стоять не будет. Однако поверил. Одной рукой дрочу, другой — книгу читаю. Кимза, сволочь, олень-соперник, стучал два раза и торопил. Я его на хуй послал и сказал, что я ему не Мамлакат Мамаева и не левша и обеими руками работать не умею. Книга была «Далеко от Москвы». Интересно. Я сам ведь был на том нефтепроводе. Вот какие судьба дает повороты. Несу пробирку с малофейкой Владе Юрьевне.

— Спасибо. Вы не уходите, Николай. Вникайте в суть наших экспериментов. Анатолий Магомедович разрешил. В этой установке мы будем сегодня бомбардировать ваших живчиков нейтронами и облучать их гамма-лучами. А затем, вот в этом приборе ИМ-1, начнется наблюдение за развитием плода. Это — матка. Только искусственная. Наша тема: исследование мутаций и генетического строения эмбрионов в условиях жесткого космического облучения с целью выведения более устойчивой к нему человеческой особи.

Я раскрыл ебало, как ты сейчас, ничего не понимаю, но смотрю. Малофейку мою в тоненькой стекляшке заложили в какую-то камеру. Кимза орет: «Разряд!» — а мне страшно и жалко малофейку. Ты, представь: нейтрон этот несется, как в жопу ебанный, и моего родного живчика Николай Николаевича — шарах между рог! А он и хвостик в сторону. Надо быть извергом, чтобы спокойно чувствовать такое. Я зубы сжал, еще немного — распиздошил бы всю лабораторию. Тут вынимают мою малофейку, смотрят в микроскоп — а она ни жива ни мертва — и в газ суют для активности. Потом отделили одного живчика от своих родственников и в искусственную поместили матку. Господи, думаю, куда же мы забрели, если к таким сложностям прибегаем. Кто эту выдумал науку? Пойду я лучше по карманам лазить в троллейбусе «Букашка» и в трамвае «Аннушка». Особенно зло меня разобрало на

эту матку искусственную. Шланги к ней разные тянутся, провода, сама блестит, стрелками шевелит, лампочками, сука такая, мигает, а рядом четыре лаборантки вокруг нее на цирках бегают, и у каждой по матке, лучше которых не придумаешь, хоть у тебя во лбу полметра с дюймом. И поместили туда Николай Николаевича! А что, если он выйдет оттуда через девять месяцев, а глаз у него правый нейтроном выбит, и ноги кривые, и одна спина короче другой, и вместо жопы — мешок, как у кенгуру? А? Чую — говно ударило в голову. Хорошо Влада Юрьевна спросила:

— Вы о чем задумались, Николай?

— Так. Прогресс обсуждаю про себя, — говорю и в обе фары уставился на нее, сердце стучит, ноги подгибаются, дыхания нет: любовь! Беда!

Вечером беру спирт, закусон и иду на консилиум к международному урке.

— Так и так, — говорю, — что делать?

— Не с твоим кирзовым рылом лезть в хромовый ряд. На этом деле грыжу наживешь и голой сракой об крашенный забор ебнешься, — говорит урка. — Забудь любовь, вспомни маменьку.

— Пошел ты на хуй малой скоростью, — говорю.

— Хороший ответ, молодец. Вот если бы так в райсобесе отвечали, то и никакой бюрократии в государстве бы не было. А то с пенсией тянут, тянут. Патриотизма в них ни на грош.

Урка пенсию по инвалидности хлопотал. Он, видать, задумался, приуныл. Я и поканде-хал к дому. В сердце — сплошной гной. Впо-ру подсесть и перезимовать в Таганке всю эту любовь. Мочи нет. И даже не думаю, есть у Влады муж или нет его, насрать мне на все, глаза на лоб лезут, и учти, дело не в половой проблеме. Бери выше. Ночь не спал, ходил, голову обливал из крана, к Кимзе постучал. Он не пустил. Может, спал? Утра не дождусь. Как назло часы встали. Прибегаю, а в лабора-тории все Владу Юрьевну с чем-то поздравля-ют, руки трясут, в руках у нее букет, она голо-вой кивает по-княжески, с высоты, увидела меня, подходит и дает цветочек. Кимза же, за-метил я, плачет тихо, слезы текут.

— Николай! Для вас это тоже праздник своего рода.

У меня рыло перекосило шесть на девять, и что бы ты думал? Оказывается, Влада Юрь-евна попала от меня искусственно первый раз то ли в РСФСР, то ли во всем мире. «Как? Как?» Ну и олень ты сохатый. На твои рога только кальсоны сраные вешать, а шляпу — большая честь. Голодовку объявлял когда? А я объявлял. Меня искусственно кормили че-рез жопу. Ну и навозились с ней граждане на-чальники! Только воткнул трубку с манной ка-шей, а я как перну — и всех их с головы до ног. Они меня сапогами под ребра, по пузу то-пают, газы спускают и опять в очко загоняют кашицу или первое, уж не помню. А я опять

поднатужусь, кричу: «Уходи! Задену!» — их как ветром сдуло. Откуда во мне бздо бралось — ума не приложу. От волюнтаризма, наверное. А может, от стального духа. Верись, перевели меня из Казанской тюрьмы в Таганку, чего и добивался. Похудел только.

Короче, Владе Юрьевне Кимза вставил трубочку, и по трубочке мой Николай Николаевич заплясал на свое место. Вот в какую я попал непонятную, сука, историю. Не знаю, как быть и что говорить. Только чую: скоро чокнусь. Мне бы радоваться как папаше будущему и мать своего ребенка зажать и поцеловать, а я в тоске и думаю, ебись ты в коня, вся биология, жить бы мне сто лет назад, когда тебя не было. Чую: скоро чокнусь, смотрю на Владу Юрьевну, вот она, один шаг между нами, и не перейти его. А в ней ни жилка не дрогнет, ни жилочка. Сфинкс. Тайна. Вроде бы ей такое известно, до чего нам не допереть, если даже к виску отбойный молоток приставить. Однако беру психику в руки.

— Вы, Николай, не смущайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Если хорошо кончится — вы дадите ему имя. Я вас понимаю... все это немного грустно. Но наука есть наука.

9

Я, чтобы не заплакать, ушел в свою хавирку, лег, мечтать начал о Владе Юрьевне, привык на нарах таким манером себя возбуж-

дать, мастурбирую и «Далеко от Москвы» читаю. В лаборатории вдруг какой-то шум, я быстро струхнул в пробирку, выхожу, несу ее в руке. А там, блядь, целая делегация. Замдиректора, партком, начкадрами и какие-то не из биологии люди. Приказ читают Кимзе. Лабораторию упразднить. Кимзу и Владу Юрьевну уволить. Лаборанток перевести в уборщицы, а на меня подать дело в суд, ни хуя себе уха, за очковтирательство, прогулы и занятия онализмом, не соответствующие должности технического референта. А за то, что я уборщицей был по совместительству, содрать с меня эти деньги и зарплату до суда заморозить. Я как стоял с малофейкой в руке, так и остался стоять. Ресничками шевелю, соображаю, какая ломается мне статья, решил уже — сто девятая. Злоупотребление служебным положением. Часть первая. А замдиректора еще что-то читал про вредительство в биологической науке и как Лысенко их разоблачил, на счет империализма-менделизма и космополитизма. Принюхиваюсь. Родной судьбой запахло, потянуло тоскливо. Судьба моя пахнет сыро, вроде листьев осенних, если под ними еще куча говна собачьего с прошлого года лежит.

— Вот он! Взгляните на него! — Замдиректора пальцем в меня тычет. — Взгляните, до каких помощников опустились наши горелые, так любившие выдавать себя за представителей чистой науки. Чистая наука дела-

ется чистыми руками, господа менделисты-морганисты!

Челюсть у меня — кляцк! Пиздец, думаю! Тут, кроме собственной судьбы, еще и политикой чужой завоняло. С ходу решаю уйти в глухую несознанку. С Менделем я не знаком. На очной ставке так и скажу, что в первый раз в глаза вижу и что я таких корешей политанией вывожу, как лобковую вшу. А насчет морганиста прокурору по надзору заявлю, что в морге моей ноги не было и не будет и мне неизвестно, ебал кто покойников или не ебал. Чего-чего, а морганизма, сволочи, не пришьете! За него же дают больше, чем за живое изнасилование! Это ты уж, кирюха, у прокурора спроси, почему извилина у тебя одна и та на жопе, причем не извилина, а прямая линия. Не перебивай, лох позорный. Гуляй по буфету и слушай... Прибегает академик, орет: «Сами мракобесы!» А замдиректора берет у истопника ломик и шарах этим ломиком сплеча по искусственной пизде!

— Нечего, — говорит, — на такие горестановки народные финансы переводить! — Малофейку у меня из руки вырвал и выбросил, гад такой, в форточку. Из этого я вывел, что он уже не зам, а директор всего института. Так и было. Кимза вдруг захохотал, академик тоже, Влада Юрьевна заулыбалась, народу набилось до хера в помещении. Академик орет:

— Обезьяны! Троглодиты! Постесняйтесь собственных генов!

— У нас, с вашего позволения, их нету. У нас не гены, а клетки! — отбрил его замдиректора. — Признаетесь в ошибках?

Потом составляли кому-то приветствие, потом на заем подписывались, и меня дернули на заседание ученого совета. И вот тут началась другая судьба, убрали говно собачье из-под осенних листьев. Выкинул я его своими руками. Но по порядку. Поставили меня у зеленого стола и вонзились. Мол, зададут мне несколько вопросов, и чем больше правды я выложу, тем лучше мне будет как простой интеллигентной жертве вредителей биологии. Задавать стал замдиректора.

— В каких отношениях находился Кимза с Молодиной? Писал ли за нее диссертацию и оставались ли одни?

Но по порядку. Я тебе разыграю допрос.

— В отношениях, — говорю, — научных. На моих глазах не жили.

— Говорил академик, что сотрудники Лепешинской только портят воздух?

— Не помню. Воздух все портят. Только одни прямо, а другие исподтишка.

— Вы допускали оскорбительные аналогии по адресу Мамлакат Мамаевой?

— Не допускал никогда, уважал с детства. Имею портрет.

Я сразу усек, что донос тиснула одна из лаборанток. Больше никому. Валя, псина.

— Кимза обещал выдать вам часть Нобелевской премии?

— Не обещал.

— Кто делал мрачные прогнозы относительно будущего нашей планеты?

— Не помню.

— Как вы относились к бомбардировке вашей спермы нейтронами, протонами и электронами?

— Сочувственно.

— Обещал ли Кимза сделать вас прародителем будущего человечества?

— На хуй мне это надо? — завопил я. — Первым по делу пустить хотите?

— Не материтесь. Мы понимаем, что вы жертва. Что сказал академик относительно сталинского определения нации?

— По мне, все хороши, лишь бы ложных показаний на суде не давали. Что жид, что татарин.

— Почему вы неоднократно кричали? Вам было больно?

— Приятно было, наоборот.

— Вам предлагали вивисекцироваться?

— Нет, ни разу.

— Вы знаете, что такое вивисекция?

— Первый раз слышу.

— В чем заключалась ваша... ваши занятия?

— Мое дело драть и малофейку отдавать. Больше я ничего не знаю. Действовал по команде: внимание — оргазм! Как услышу, так включаю кожаный движок.

— Как относились сотрудники лаборатории к Менделю?

— Исключительно плохо. Неля даже говорила, что они во время войны узбекам в Ташкенте взятки давали и вместо себя в какой-то посылали Освенцим. И что ленивые они. Сами не воюют, а дать себя убить — пожалуйста.

— Кем проповедовался морганизм?

Началось, думаю, самое главное, и вспомнил, как Влада Юрьевна говорила: «Что было бы, Николай, если бы дядя Вася в морге рыдал над каждым трупом?» С ходу стемнил.

— Что это за штука, морганизм?

— Вам этого лучше не знать. Кто с уважением отзывался о космополитах?

— Кто это такие? Первый раз слышу.

— Выродки! Люди, для которых не существует границ.

Пиздец, думаю, надо будет предупредить международного урку вечером.

— Сколько часов длился ваш рабочий день и сколько спирта вы получали за свою трудовую деятельность?

Ну, думаю, пора принимать меры. Косить надо. Затрясся я, надулся до синевы, подбегаю к другому концу стола — и хуяк в рыло замдиректору полную чернильницу чернил. А она в виде глобуса сделана. Хуяк, значит, — и в эпилепсию. Упал, рычу, пену пускаю. Ногами колочу, начкадрами по яйцам заехал, кто-то орет:

— Язык ему надо убрать, задохнется, зубы быстрее разожмите чем-нибудь железным!

Кто-то сует мне между зубов часы карманные. Я челюстью двинул, они и тикать перестали. Глазами вращаю бессмысленно. Эпилепсия — первый класс по Малому театру. Перестарался, подлюга, затылком ебнулся об ножку стола и начал затихать постепенно. А они вокруг меня держат совет, чтобы сор из избы не выносить, западу пищу не давать. «Скорую помощь» вызвали.

— Этого я никогда не ожидал от своей бывшей жены, — сказал замдиректора — вся рожа и рубашка в чернилах, — хотя о ее связи с Кимзой догадывался. Она просто мелкая извращенка. С сегодняшнего дня мы разведены.

Ну уж тут я чуть не вскочил с пола, однако сдержался. А «скорая помощь» — ее за смертью, сволочь, посылать — все не едет. Я опять забился, потом притих и говорю: «Воды-ы! Где я?» Отплевываюсь сам почему-то чернилами, с губы пена фиолетовая капает, шатаюсь с понтом, все болит. Мне говорят, чтобы не нервничал, работу обещали подыскать, воды подали, на Кимзу заявление просили сочинить и вспомнить, приносил ли он на опыты фотоаппарат. «Скорая» так и не приехала. В общем, они перебздели из-за меня.

10

Я, только вышел из института, беру такси и рву к дому Влады Юрьевны. В голове сту-

чит, ни хуя себе уха!.. Евонная жена она... ни хуя себе уха... ах ты, сука очкастая! И жалко мне, что чернильница была глобусом, а Земля наша не квадратная. В темечко бы ему до самого гипоталамуса, гнида, острым краем. Такую парашу пустить про лучшую из женщин! «Мелкая извращенка!»

Подъезжаю, блядский род, к ее дому, шефу говорю: «Стой и жди». Сам квартиру нашел, звоню. Открывает она, Влада Юрьевна, слава тебе господи!

— Николай, почему у вас все лицо в чернилах?

— Ваш муж бывший допрашивал. Но я не раскололся и никого не продал.

— Ах, он успел публично отказаться от менделистки-морганистки? Заходите. Собственно, я сама уйду. Уже собрала вещи.

Короче говоря, тут уж я не таился и говорю:

— Едемте ко мне, не думайте ничего такого, я один живу, могу и у приятеля поошиваться, а вы будьте как дома.

— Едемте, — отвечает, — но ведь вы с Толлей в одной квартире живете...

— Ну и что? — кричу и чемодан беру уже за глотку. Жил я тогда один. Тетку мою месяцев шесть как захомутали. Ее, если помнишь, паспортный стол ебал, она и устраивала через него прописки. За деньгу большую. И погорела. Один прописанный шпионом оказался. А эти падлы не то что мы, которые всю доро-

гу в несознанке. Раскололся и тетку продал. Дедка за репку, бабка за папку. Тетка продала своего, тот разговорился. Трясанули яблоньку, и всех, кого они прописали, выселять начали. Между прочим, тетке я кешари каждый месяц шлю и деньгами тоже. Хуй — в беде оставлю. Значит, едем мы в такси, она мне ваткой чернила на ебальнике вытирает, а у меня стоит от счастья, никто еще за чистотой моей не следил. Никогда. Любили меня неумытого на сплошных раскладушках. Романтиком я был. Всегда в пути, как сейчас говорят. И оказывается, Влада Юрьевна еще до войны студентами крутила с Кимзой роман. Но целку до диплома он ей ломать не хотел. Так я понял. Тут война. Кимзу куда-то в секретный ящик загнали, бомбу делать или еще что-то. Года через два появляется он весь облученный от муде до глаз, и, сам понимаешь, на такую пиписку только окуньков в проруби ловить, и то не клюнет. Трагедия. Хотели оба травиться. А Молодин, замдиректора, уговорил как-то Владу Юрьевну. Хули, действительно, вешаться? И Кимза ей согласие дал. Она мне зачем рассказала-то? Чтобы я с ним был вежливый и сожалительный. Чтобы матом не ругался. Она бы в его комнате жила, но боится, Кимза запьет от тоски, что с ним уже случилось. Приехали. Сгрузили вещички. Я и рас судил, как проводник: надо спускаться на тор- мозах. Взял бельишко и говорю Владе Юрьевне:

— Поживу у кирюхи, а вы тут не стесняйтесь: за все уплачено. — И пошел к международному урке.

11

Спиртяги взял. Лабораторию прикрыли. Завтра не дрочить. Можно и нажраться. Выпили. Предупредил я его, чтобы поосторожнее рассказывал, как за границу перепрыгивал до тридцатого года в экспрессах. А то космополитизм пришьют. И бедный мой урка международный совсем до слез приуныл. Он же, говорит, три языка знает и четыре «фени». Польский, немецкий и финляндский. Правда, на них его только полиция понимает и прокуратура, но и так бы он Родине сгодился чертежи какие пиздануть из сейфа у Форда или дипломата молотнуть за все ланцы и ноты дипломатические. Ты знаешь, лох, говорит урка, сколько я посольств перемолотил за границей? В Берлине брал греческое и японское, в Праге, сукой мне быть, — немецкое и чехословацкое. Но в Москве — ни-ни! Только за границей. Я ведь что заметил: когда прием и общая гужовка, эти послы, ровно дети, становятся доверчивыми. В Берлине я с Феденькой-эмигрантом — он шоферил у Круппа — подъезжал к посольству на «мерседесе-бенчике». На мне смокинг и котел, чин чинарем. Вхожу, говорит урка, по коврам в темных тапочках на лесенку, по запаху канаю в залу, где

закуски стоят. Самое главное в нашей работе — это пересилить аппетит и тягу выпить. А послы мечут за обе щеки. На столе поросята жареные, колбасы отдельной — до хуя, в блюдах фазаны лежат, все в перьях цветных, век мне свободы не видать, говорит, если не веришь. Попробуй тут удержишься — слюни, как у верблюда, текут, живот подводит... В Берлине вшивенько тогда с бациллой было. Все больше черный да черствый. Но работа есть работа — просто так щипать* я и в Москве мог. Выбираю посла с шеей покрасней и толстого. Худого уделать трудно, он, как необъезженный, вздрагивает, если прикоснешься, и глаза косит, тварь. Выбираю я его, с красной шеей, в тот момент, когда он косточку обглаживает поросячью или же от фазана. Обглаживает, стонет, вроде кончает от удовольствия, глаза под хрустальную люстру вываливает, падаль. Объяви ты его родному государству войну — не оторвется от косточки. Тут-то я, говорит урка, левой вежливо за шампанским тянусь, а правой беру рыжие часы или лопатник с валютой. Куда там! Исключительно занят косточкой. Теперь вся воля нужна, чтобы отвалить от стола с бациллой. Отваливаю. Феденька уже кнокает меня у подъезда. Подает шестерка котелок. Я по-немецки выучил, трекаю — себя называю. Другой шестерка орет: «Машину статс-секретаря посольства Козолупии!» Феденька выруливает, и

* Быть карманником.

мы солидно рвем ужинать. Нагло работали. Кому я мешал? Я же враждебную дипломатию подрывал и даже не закусывал. И запел урка: «На границе тучи ходят хмуро». А я сижу, слушаю и забываюсь. Подольше бы говорил. Посоветовал ему в Чека написать, попроситься. Он говорит, что уже написал и ответ пришел: ждать, когда вызовут. Я ему не поверил. Что такое морганизм, спрашиваю, знаешь? И рассказываю, как мне его пришить хотели. Международный урка загорелся с ходу, забыл свои посольства и экспрессы, пошли, говорит, возьмем их с поличным! Пошли в морг! А во мне такая любовь и тоска, что я согласился. Поддали для душка и тронулись. Морг этот за нашим институтом во дворе находился. Дача зимняя. Окна до половины, как в бане, белилами замазаны. Свет дневной какой-то бескровный горит — в трех с краю. Встали мы на цыпочки и давай косяка давить. Никого нет, кроме покойников. Лежат они голые, трупов шесть, и с ихних бетонных кроватей вода капает. Обмывали. А в проходе шланг черный змеей из стороны в сторону вертухается — вода из него хлещет. Дядя Вася, видать, выключить забыл. Не поймешь — где баба, где мужик, да и все равно это. Ноги у меня подкосились от страха и слабости. Ничего нет страшней для меня, карманника, когда человек голый и нет на нем карманов. На пляже я не знаю, куда руки девать. В бане, блядь, особенно безработицу

чувствую. Но там хоть голые, без карманов, но живые, а тут мертвые. Поляный пессимизм. А международный урка прилип к окну — не оторвешь. Прижег я ему голяшку сигаретой — сразу оторвался, разъебай. Хули, говорю, подъезд раскрыл, нет тут ни хуя интересного. А он уперся, что, мол, наоборот. И что как угодно он может себя представить и в Монте-Карло, где он ухитрился спиздить у крупье лопаточку, что деньги гребет, — на хера ее только пиздить, неизвестно, — в спальней посла Японии в Копенгагене, и в Касабланке, где он на спор целый бордель переебал, девятнадцать палок кинул, пять долларов выиграл, и в Карлсбаде в тазике с грязью, ну где хочешь, там он и может себя представить. А в морге, говорит, век мне свободы не видать, изрубить мне залупу на царском пяточке в мелкие кусочки, не могу — и все. Вот загадка! Смотрю и не могу. И лучше не надо. Эту границу никогда не поздно перейти. А пока хули унывать!

Еще поддали... Сидим в кустах, как лунатики, и поддаем. Я и плакать тогда начал, ковыряю в дупле спичкой и реву, сукоедина, как гудок фабрики имени Фрунзе. Международный урка думает, что я трупов перебздел, нервишки не выдержали, а у меня одно на уме. «Я, — говорю, — смерть ебу, понял?» — «Ты-то, — говорит урка, — ее ебешь, а она с тебя не слазит, мослами пришпоривает!» Тут я не выдержал и раскололся урке, что мою мало-

фейку без моей помощи перевели в организм Владе Юрьевне и попала она впервые в историю. Как быть? Может, ковырнуть, а я уж сам по новой накачаю? Или идти в роддом с кешарем и букет из ЦПКиО спиздить? Как я дитя на руки возьму и баюкать буду? У меня, чую, компас неполноценности начинает вздрагивать. Зачем это они выдумали, бляди, разве не смог бы я просто так палку кинуть? Со своей-то злой малофейкой? И чего оргазму пропадать? Я, сучий мир, еще, слава богу, не машина, и муде у меня сварное, а не на гайках. Правильно, думаю, Молодин-замдиректора ломиком пиздятину искусственную раскурочил, одно мокрое место от нее осталось — ебанный нейтронами Николай Николаич. Обидно мне. Как быть? Урка слушает, хохочет. Такой прецедент был, говорит, у нас в Воркуте. Один фраер пятерку волок, год остался, приезжает к нему баба на свидание с пацаном-двухлетней. Он ее с вахты вытолкал и разгонять начал. «Падла, такая-сякая, проститутка, меня тут исправляют, а ты ебешься с кем попало, алиментов захотела, шантажистка!» Тут даже опер наш возмутился. «Такая нахаловка, — говорит, — товарищ Ляпина, у нас не прохазает. Мы на стороне заключенных, а личных свиданий у вас не было ни одной палки, потому что муж ваш фашистская сволочь, картежник, отказник и саботажник. Идите на хуй, откуда явились!» Баба — в слезу. Доказывает: приходил Ляпин в командировку, пилил и сло-

ва говорил. А Ляпин кричит: «Конвой! Бей по ней прямой наводкой! Пускай, сука, проверяет деньги, не отходя от кассы! Шантаж!» С тем баба и уехала. А ведь Ляпин, сволочь, в побег по натуре ходил. Я один знал. Нас тогда не считали даже. Мороз сорок пять градусов, жрать нехуя и убежать некуда. А Ляпин бегал. И все с концами. Наебется, как паук, и обратно чешет. Талант громадный был. Из Майданека бегал, не то что с Воркуты. Я, говорит, поебаться бегу, так как прочить не уважаю из принципа. Такого человека любая разведка разорвала бы на части. Я говно по сравнению с ним.

Много еще чего натрекали мы с уркой друг другу. В морг так никто не приходил похариться.

12

По утранке заваливаюсь домой... Ты пей, кирюха, скоро конец, самое интересное начинается, а я поссать сбегаю. Ладно, иди ты первый. Я постарше — потерплю. Ну вот. Ведь правда, скажи ты мне, как хорошо, если ссышь и не щиплет с резью, если, к примеру, жрешь и запором не мучаешься, принесет баба с похмелья кружку воды, а ты ей в ножки кланяешься и, блядью мне быть, не знаешь, что лучше — вода или баба. И она загадка, и вода — тоже. Ведь ее Господь Бог по молекуле собирал да по атому — два водорода, один кислород. А если лишний какой, то пиздец —

уже не опохмелишься. Чудо! Или воздух возьми. Ты об нем когда думаешь? Вот и главное. «Хули думать, если его не видно». А в нем каких газов только нет! Навалом. И все прозрачные, чтобы ты, болван, дальше носа своего смотреть мог, тварь ты. Творцу нашему неблагодарная, жопа близорукая. «Не видно!» Вот и нужно, чтобы нам, людям, думать побольше о том, чего не видно. О воздухе, о воде, о любви и о смерти. Тогда и жить будем радостно и благодарно. Не жизнь, чтоб мне сгнить, а сплошная амнистия!.. Заваливаюсь по утрянке домой, а Влада Юрьевна лежит бледная на моем диване-кроватьи. Рядом — Кимза, пульс щупает. Что такое? Выкидыш. Не удержался Николай Николаич, не видать Кимзе мирового рекорда для своей науки. На нервной почве все получилось. Замдиректора Молодин додул, что у Кимзы она, и прикандехал с повинной. Для служебного положения он, видишь ли, не мог не разводиться. А жить, мол, можно и так. Ебаться, в смысле. Не то — пригрозил донести, что развращает в половых извращениях недоразвитого уголовника, то есть меня, и через меня же вырастить для космоса миллион низколобых задумала с Кимзой. Так я понял. Кимза головой его в живот боднул и теткиной спринцовкой отхерачил. Влада Юрьевна и выкинула, когда мы с уркой надрались у морга. Я за ней, как за родной, шестерил. Икры тогда еще до хера в магазинах было и крабов. Я утром проежусь на

«Букашке» — и в Елисейский, купить что-нибудь побациллистей. Ночью по два раза парашу ее выносил в галюн. Ведь по нашему большому коридору ходить опасно было. Сосед Аркан Иванович Жаме к бабам приставал, через ванную в окошко заглядывал, но трогать не трогал. Стебанутый был на сексуальной почве. Подслушивал, как ссут, и подсматривал. Он же и стучал участковому, что в квартире творится. Особенно на Кимзу. Как он в галюне хохочет над чем-то. И Кимзу в Чека дергали. А Кимза сказал:

— Смешно мне, гражданин начальник, оттого, что я человек, царь природы, разум у меня мировой, и вынужден, однако, сидеть в коммунальном сортире и срать, как орангутанг какой-нибудь.

Отбрил, в общем, Чека. Короче говоря, выходил я Владу Юрьевну. Ходить уже начала, а я-то сколько уж сижу на голодной птюхе, надроченный на работе и наебанный в гостях. Веришь, яйцо одно неделю ломило и распухло. Я пошел в одну гостиницу, гранд-отель, помацать, что с ним. Там в прихожей зеркало было во весь рост. Подхожу, вынимаю, и, ебит твою мать, цветное кино! Яйцо-то мое все серо-буро-малиновое. Тут швейцар подбежал — седая борода и нос, что мое яйцо. Шипит в ухо, в бок тычет:

— Рыло! Гадина! Разъебай! На три года захотел? Запахивай! Франция, эвона, на тебя смотрит!

Гляжу, а на лестнице бабуся стоит, наштукатурилась, аж щеки обвисли, и, ебало раскрывши, за мной наблюдает, фотоаппарат наводит. Швейцар под мышку меня и на выход. Все еще шипит:

— Деревня хуева! Ты бы лучше в музей сходил! Для того ли в Москву приехал!

Я у него за такие речуги червонец из скулы взял и ему же на чай дал. Залыбился, гнида.

— Заходите, — говорит, — дорогие гости, всегда рады!.. Вот какое состояние у меня было. Но характер имею такой: решение принимаю, когда пора хуй к виску ставить и кончать существование самоубийством. Кемарил я на полу. Один раз не выдержал, рву кальсоны на мелкие кусочки, мосты за собой сжигаю. Встал на колени, голову в ее одеяло и говорю: не могу пытку такую терпеть — или помилуйте, или кастрируйте. И что она мне отвечает?

Не удивилась даже. Что ей отдаться не жалко, только ничего не выйдет. Она — фригидная... Не путай, мудило, с рыбой фри... И кончать, мол, не может. Ей все равно. Так и с замдиректором жила, и если он залазил на нее — только рыло воротила и брезговала. Но муж есть муж, хоть и залазил он раз в месяц. Стою на коленях, уткнувши лицо в ее одеяло, и дрожу. А она говорит:

— Вам, Николай, лучше с рыбой переспать, чем со мной. Такая женщина, как я, для мужчины — одно оскорбление. Только не ду-

майте, что жалко. Пожалуйста, ложитесь, снимайте тапочки.

Ну, думаю, Коля-Николай, никак нельзя тебе жидко обосраться, никак... Ух, давай выпьем!.. Как сейчас многого не помню. Не до разглядываний было, разглаживаний и засосов. Не помню, как начал, только пилил и урку международного вспоминал. Тот учил меня, что каждая баба вроде спящей царевны, и нужно так шарахнуть членом по ее хрустальному гробику, чтобы он на мелкие кусочки разбился и один кусочек, осколочек у бабы в сердце застрял, а другой у тебя в залупе задумался. Взял себя в руки. И чую вдруг такую ебитскую силу, что забиваю не то чтобы серебряным молоточком, а изумрудной кувалдой заветную палочку. И что не хуй у меня, а целый лазер. И веришь, что не двое нас, чую, а кто-то третий, не я и не она, но с другой стороны — мы же сами и есть. Ужас, кошмар, я тебе скажу, — было страшно. Вдруг отскочит мой единственный от ее хрустального гробика и не совладеет с фригидностью? Чтоб она домоуправшу нашу прохватила, падаль. Как сейчас многого не помню, но додул все ж таки, что не долбить надо, как отбойным молотком, а тонко изобретать. Видал в подарках Сталину китайское яйцо? А в нем другое, а в другом еще штук десять. И все разные, красивые и нигде не треснутые. Видал. Так вот, додул я, что пилить Владу Юрьевну надо ювелирно. А она и в натуре как рыба, дышит ров-

но, без удовольствия. «Вот видите, — говорит, — Николай, вот видите?» И я чуть не плачу над спящей царевной, но резак мой не падает. Век буду его за это уважать и по возможности делать приятное. Отчаялся уж совсем в сардельку, блядь. И вдруг что я слышу и чую!

— О Николай! Этого не может быть! Этого не может быть! Не может быть, не может! — И все громче и громче, и дышит, как паровоз «ФД» на подъеме, и не замолкает ни на секунду.

— Коля, родной, не может этого быть! Ты слышишь, не может!

А я из последних сил рубаяю, как дрова в кино «Коммунист». Посмотри его, посмотри обязательно, кирюха ты мой. За всех мужиков Земли и прочих обитаемых миров рубаяю и рубаяю и в ушко ей шепчу, Владе Юрьевне: «Может, может, может!» И вдруг она в губы впи-лась мне и закричала: «Не-е-е-т!» В этот момент я — с копыт. Очухиваюсь — у нее глаза закрыты, бледная, щеки горят, лет на десять помолодела. Она на столько старше меня. Лежит в обмороке. Я перебздел — вроде и не дышит. Слезаю и бегу в чем был за водой на кухню, забыл, что без кальсон, и налетаю на Аркан Иваныча Жаме в коридоре. Прямо мокрым хером огулял его сзади, стукача позорного. Он — в хипеж: «Посажу, уголовная харя, ничтожество!» Это я-то ничтожество, который женщину от вечного холода спасал?

Я ему еще поджопника врезал. Завтра, говорю, по утрянке потолкуем. Прибегаю с водой, тряпочку на лоб и ватку с нашатырем. И тут открывает она глаза и смотрит, и не узнает. Вроде ты мне родной, говорит. Я лег рядом, обнял Владу Юрьевну и думаю: пиздец, теперь только ядерная заваруха может нас различить, а никакое другое стихийное бедствие, включая мое горение на трамвае «Аннушка» или троллейбусе «Букашка». Утром приходит к нам Кимза с бутылкой в руке, пьяный, рыдает, целует меня и альтерэгой называет, хохочет. Я вышел. Оставил его с Владой Юрьевной. Они поговорили — он с тех пор успокоился. Но по пьянке альтерэгой все равно называет.

Живем. Все хорошо. У замдиректора я два раза всю получку уводил. Кимза микроскоп домой притаранил, с реактивами всякими — опыты продолжать.

— Наука, — говорит, — не пешеход, и ее свистком хуй остановишь. Придется тебе, Николай, дрочить хоть изредка, чтобы нам время не терять.

— Платить, — спрашиваю, — кто будет? МОПР?

— Продержимся, — говорит Влада Юрьевна, — а сперма нам необходима хоть раз в неделю.

Ну мне ее не жалко. Чего-чего, а этого добра хватало на все. Про любовь я тебе пока помолчу. Да и не запомнишь ее никак. Поэтому

человек и ебаться старается почаще, чтобы вспомнить, чтобы трясануло еще раз по мозгам с искрою. Одно скажу, каждую ночь, а поначалу и днем мы оба с копыт летали, и кто первый шнифтом заворочает, тот другому ватку с нашатырем под нос совал. А как прочухиваюсь, так спрашиваю:

— Ну как, Влада Юрьевна, может это быть?

— Нет, — говорит, — не может. Это не для людей — такое прекрасное мгновение, и, пожалуйста, не говори отвратительного слова «кончай», когда имеешь дело с бесконечностью. Как будто призываешь меня убить кого-то.

А я говорю: тут бабушка надвое сказала — или убить, или родить. О чем мы еще говорили — тебе знать не хера. Интимности это.

13

А время идет... Уже морганистов разоблачили, космополитов по рогам двинули, Лысенко орден получил. Кимза пенсию отхлопотал. Влада Юрьевна старшей сестрой в Склифосовского поступила, я туда санитаром пошел. Тяжелые времена были. На «Букашке» меня, как рысь, обложили, на «Аннушке» слух пошел, что карманник-невидимка объявился. Сам слышал, как один хер моржовый смеялся, что, мол, если я невидимка, то и деньжата наши тоже невидимыми заделались. Плохо

все. Еще Аркан Иваныч Жаме шkodить стал. Заявление тиснул, что Влада Юрьевна без прописки и цветет в квартире половой бандитизм, по ночам с обнаженными членами бегают. Вот блядище! А тронуть его нельзя — посадят! Я б его до самой сраки расколочил, а там бы он сам рассыпался. По утрачке выбегает на кухню с газетами и вслух политику хакает:

— Латинская Америка бурлит, Греция бурлит, Индонезия бурлит! — А сам дрожит от такого бурления, вот-вот кончит, сукоедина мизерная. — Кризис мировой капиталистической системы, слышите, Николай! — А сам каждый день по две новых бабы водит. Он парикмахер был дамский. И вот из-за него, гадины, меня дернули на Петровку, тридцать восемь. Майор говорит:

— Признавайся с ходу — занимаешься онанизмом?

Первый раз в жизни иду в сознанку.

— Занимаюсь. Только статьи такой нет — кодекс наизусть знаем.

У него шнифты на лоб:

— Зачем?

— Привык, — говорю, — с двенадцати лет по тюрьмам ошиваюсь.

— Есть сигнал, что в микроскоп ее рассматриваете с соседом.

— Рассматриваем.

— Зачем, с какой целью?

— Интересно, — говорю. — Сами-то видели хоть раз?

— Тут, — говорит, — я допрашиваю. Чего же в ней интересного?

— Приходи, — приглашаю, — покнокаешь.

Задумался.

Отпустил в конце концов. Все равно бы ему на мой арест санкции не дали. А тебе, Аркан Иванович Жаме, думаю, я такие заячьи уши приделаю, что ты у меня будешь жопой мыльные пузыри пускать с балкона. Дай только срок. Я тебе побурлю вместе с Индонезией!

Работали мы с Владой Юрьевной в одну смену. Таскаю носилки, иногда на «скорой» езжу. И что-то начало происходить со мной. Совсем воровать перестал. Не могу — и все. Заболел, что ли. Или апатия заебла. Не усеку никак. Потом усек. Мне людей стало жалко, такие же, вроде меня, двуногие. Ведь чего только я не посмотрелся из-за этих людей! Видал и резаных, и простреленных, и ебнутых с девятого этажа, и кислотой облитых, и с сотрясением мозгов... А один мудака кисточку для бритья проглотил, другой бутылку съел — четвертинку, третий сказал бабе: «Будешь блядовать — ноги из жопы выдерну». И выдрал одну, другую — соседи не дали. Я ее на носилках нес. А под машины как попадает наш брат и политуру жрет с одеколоном. До слепоты ведь! А тонет сколько по пьянке, а обвариваются! Ебитская сила, такие людям мучения! И вот, допустим, думаю я, если человеку так

перепадает, что и режут его, и печенки отбивают, и бритвой моют по глазам, и из жопы ноги выдергивают, то что же я, тварь позорная, пропало с бельмом, еще и обворовываю человека? Не может так продолжаться! Завязал. Полегчало. Даже в баню стал ходить. А Аркан Иванович Жаме вдруг заболел воспалением легких. Попросил Владу Юрьевну за деньги уколы колоть и целый курс витаминов. И тут я сообразил, что делать надо. Уколы я сам к тому времени насобачился ставить. Надо сказать откровенно, кирюха, Аркан Иванович Жаме был уродина человеческая. Весь в волосне рыжей, сивой и густой, от пяток до ушей. Уколы на жопе не сделаешь. Пришлось брить. Уж я его помучил без намыливания, поскреб, лежи, говорю, не бурли. По биологии я уже кое-что петрил и сообразил: вот кто половой бандюга, а совсем не я. Слишком много силы в яйцах у Аркан Ивановича Жаме. Слишком много! Оттого ты, сука, и в парикмахеры женские подался и подкнокиваешь, как соседи законные половое сношение совершают, гуммозник прокаженный, и по две бабы непричесанных приводишь и политику хаваешь, чуть не кончаешь, когда колонии бурлят, тварь. Гормона в тебе до хуя лишнего, чирей. Короче говоря, достал я препарата тестостерона или еще какого-то и цельный месяц колол Аркан Ивановича Жаме. Препарат же тот постепенно мужика в бабу превращает без всякого понта. Наблюдения веду. Смотрю, у

моего Аркан Иваныча Жаме движения помягче стали, мурлычет чего-то, в почтовый ящик третий день не лазит, сволочь, и по телефону не рычит, как раньше, а плешь бритая на жопе не зарастает, гормон на волосню, значит, подействовал.

— Коленька, кисуля, — просит, — побрей меня всего, хочу быть наконец голый.

— Ну уж это я ебу, — говорю, — бесплатно тебя брить.

— Я заплачу, не постою.

— Двести рублей.

Дает. Три тюбика мыльной пасты выдавил на него, две пачки лезвий на него потратил. Побрил. Раз завязал и не ворую, то и так не грех зарабатывать копейку. Поправляться стал Аркан Иваныч Жаме. Лицом побелел, в бедре раздался, ходит по коридору, плечами, как проститутка, поводит, глаза прищуривает, перерожденец сраный. Картошку чистит и поет: «Я вся горю, не пойму от чего-о-о». Даже страшно. Стал я в кодексе рыться, статью такую искать за переделку мужика в бабу. Не нашел. Решил, что подведут под тяжелые телесные. А он меня уже клеить начал: потри спинку своей рукой и массаж заделай, плачу по высшей таксе. Тысяч пять старыми я верняком содрал с него. Один раз ночью подстерег в коридоре, в муде мое вцепился и в свою комнату тащит. Я ему врезал в глаз, он успокоился. Сейчас из дамской в мужскую парикмахерскую ушел.

А тут Сталин дал дубаря. Пробрался я к международному урке. Он на Пушкинской жил. Свесились из окна, косяка на толпу давим. Ну и народу! У меня аж руки зачесались, несмотря что завязал. Каша. Один к одному. Я бы в такой каше обогатился, падлой быть, на всю жизнь, дай он дубаря лет на пять пораньше. Для нашего брата-карманника раз в сто лет такой фарт выпадает. Урка международный тут и припомнил, как он на Ходынке щипал, царя когда короновали, Николу. Мальчишкой еще был, а на триста рублей золотом наказал фраеров каких-то. Ругал, когда поддали, Сталина. Другой, говорит, камеру бы так держать не смог, как он страну держал. В законе урка был..А у меня, хошь верь, хошь не верь, помацать на него не тянуло. Ты, я вижу, придавить не прочь пару часиков. Ну уж хуюшки! Ты меня, трекалу, подзавел, ты и слушай. Чифирку сейчас заварим. Конец скоро. К нашим дням приближаемся. Но если ты, подлюга, ботало свое распустишь и хоть кому капнешь, что здесь услышал, я, ебать меня в нюх, схавая тебя и анализ кала даже не сделаю. Понял? Пей. Не обижайся. Я же не злой, я нервный, второго такого на земном шаре нема. Отвечаю, блядь, человек, буду, рубь за сто. Вот ты сидишь, пьешь, икорочкой закусываешь, банку крабов сметал как казенную, а балык и севрюжку уже и за хуй не считаешь.

А ведь мне эту бациллу по спецнаряду выдают как важному научному объекту и субъекту. Ну ладно. Будь здоров. Я тебя к дрозофилам пристрою, к мушкам. Да нет! Эрекцию вызывают другие мушки, шампанские. У нас их пока не разводят. А эрекция, это когда встает, чухно ты темное. Ну откуда же я знаю, почему у тебя встает от шампанского? Что я, Троцкий, что ли? Ну, сука, не дай господь попасть к такому прокурору, как ты, — за год дело не кончит. До пересылки ноги не дотянешь. Слушай, мизер. Тут — амнистия. Тетка, пишет, закрутила хер в рубашку с надзирателем Юркой. Вышла за зону и стала жить с ним. А Кимзу дернули в академию и говорят: принимай лабораторию, Молодина мы гоним по пизде мешалкой. Ну и ну, как повернул дело Никита! Кимза, конечно, меня и Владу Юрьевну тоже тягает наверх. И тут началась основная моя жизнь. В месяц гребу пятьсот — шестьсот новыми, жопа, а не старыми. Такую цену Кимза на малофейку выбил в банке. Владу Юрьевну я успокоил, что и на нее хватит и еще на два НИИ. А опыты пошли сложные. Лаборатория-то сексологией начала заниматься. Дрочить — это что! Пустяк. На меня приборы стали навешивать, датчики. Места на хую нет свободного. Весь сижу в проводах обвязанный, смотрю на приборы и экраны разные. Как кончаю, на них стрелки бегают и чего-то мигают. Интересно. А Кимза орет: «Внимание — оргазм!» И биотоки записыва-

ет. И что он открыл. Что во мне энергия скрыта громадная при оргазме, и если ее, как говорится, приручить, то она почище атомной бомбы поможет людям в гражданских целях. Понял? Опыты ставили. Только начинает меня забирать, а на рельсах электричка с моторчиком движется. Быстрее все, быстрее, а сначала медленно. Прерываю мастурбацию — электричка стоит как вкопанная. Я по новой — трогается. Ее в «Детском мире» купили. Тоже, сволочи, нашли что выпускать. А если докумекают что к чему? Ладно. Докладываю Кимзе: готов к оргазму. Электричка, веришь, чуть с рельсов не сходит, по кругу бегаёт и останавливается не сразу. Академик тот самый приходил смотреть. Ужаснулся: «Сколько еще, — говорит, — в человеке неоткрытого!» Формулу вывели. Теперь инженеры пускай рогами шевелят. Самое трудное — не растерять эту энергию, понял? Она же, падла, по всему телу разбегается, пропадает в атмосферу и даже в памяти не остается. Хуже плазмы термоядерной. Академик сказал:

— Продолжайте, дружочки, опыты, человек решит и эту проблему, если ему не будут мешать Лысенки. Я еще поддакнул и говорю:

— Лысенку давно политанией пора вывести.

— Что за политания? — спрашивает.

— От мандавошек, — говорю, — мазь.

— Что это за тварь?

Объяснил я ему как мог. Изумился академик.

— В каком говне, — говорит, — ни живет человек, какие звери подлые его ни кусают, а он все к звездам, к звездам, сволочь дерзкая и великолепная!

Я академику в ответ толкую, что если мандавошки одолеют, то не то чтобы к звездам, а и в аптеку залетишь, не постесняешься политании спросить.

Короче, загребать я стал приличный кусок. Что я, блядь, Днепрогэс, что ли, даром энергию отдавать? Если электричка ездит, значит, плати уже по совместительству.

Ты, кирюха, опять ебало разинул и, конечным делом, думаешь, как эту энергию использовать в военных целях. Ну и что ты надумал? Так. Залегла дивизия в окопы и дрочит, а ток в колючую проволоку бежит, атаку срывает. Так я тебя понял? И все солдаты друг за дружкой соединены последовательно или параллельно. А если замыкание короткое, что тогда? Ни хера не придумал! Выходит, генерал должен искать пробку, которая перегорела, и пока он жучка будет ставить, фашист — тут как тут. И полный пиздец дивизии. Инженер из тебя, как из моей жопы драмкружок. Я вот у академика-старикашки спросил один раз: что будет, если все мужское человечество начнет по команде дрочить и кончит секунда в секунду. Товарищеский, как говорится, оргазм совершит и груп-

повой к тому же. Что будет? Старикашка добрый говорит:

— Прогнозировать трудно, и для такой высокоритмичной акции требуется величайшая самодисциплина плюс массовое самосознание и, разумеется, ощущение единства цели. Пока мир разделен на два лагеря, это невозможно. Вот когда, батенька, будет один мир, тогда посмотрим. Тогда и подрочим, ха-ха, как вы изволили подпустить термина. Ежели, мечтатель вы мой, говорить серьезно, то эксперимент в таких глобальных масштабах может кончиться весьма плачевно, так как масса полученного удовольствия будет равна плюс-минус бесконечность.

А ты, кишка слепая, дивизию с пробками задумал. Ведь техника не член, она не стоит на месте ни одной минуты. Половую энергию не вечно будем добывать вручную. Это только в самых отсталых колхозах останется, когда выходит мужичонка поссать в темень-тьму-щую, надрачивает свой кожаный движок, а в другой руке фонарик горит, путь-дорогу до сортира освещает. А с крыльца он не ссыт, ибо культура выросла, понял? Мы уже новые опыты начали. Я запросил с них две тысячи аккордом: Ведь угля-то скоро и нефти совсем не будет, на дровах-то до звезд не доберешься, да и тайга, писали давеча, пиздой постепенно накрывается. Какой же опыт, в общих чертах? Заебачивают мне в голову два электрода... Ну и денатурат ты, ебал я твою четырнадцатую

хромосому раком! Как же можно захуярить человеку в голову электроды, которыми, по твоим данным, сваривают могильную ограду на Ваганьковом кладбище? Охуел ты совсем или прикидываешься? Я из твоего глупого черепа ночной горшок замастырю, только дырки замажу. Дождешься. Вгоняют мне в затылок два электрода, тоньше волосни они мушкетерской и из чистого золотишка сделаны. Сажусь в кресло мягкое, от электродов провода к прибору тянутся. Кимза командует, чтобы я про футбол думал. Думаю, а у меня стоит, чего ни разу в Лужниках не случилось. И вдруг автоматически чую, забирает меня, уже не до футбола. Кимза орет, чтобы руки мои привязали, и, веришь, спустил. Победа! Это сейчас кажется, что она легко далась нашей лаборатории, а сколько мы мучились. Мне весь череп истыкали, все клетку мозга искали, которая исключительно еблей распоряжается, а найти никак не могли, проститутки. Чего со мной только не было при этом! То ногами мелко дергал, то плакал горько-горько, то ржал как лошадь. Один раз вскочил и как ебнул Кимзу между рог здоровенной клизмой, одних реторт перемолотил штук десять, а Владу Юрьевну поцеловал при всех. Вахтеров вызывали меня связывать. А клетку никак не найдем, вроде бы ее и нет вовсе. Я рацпредложение вношу, что, может, она, эта клетка мозга, не в башке совсем, а в залупе располагается. Обсудили такую гипотезу — не про-

хазала она. Опять за башку взялись, и под Женский день перекосябило меня. Щека левая до ушей заухмылялась, рука отнялась и нога тоже, а электрод — все у нас в спешке делается — вытащили, а куда ставить — забыли. Тычут-тычут — не попадут по новой. Весь Женский день был я временно разбит параличом, сучий мир. Даже Владу Юрьевну не побаловал, из ложечки меня кормила. А академик Кимзе выговор объявил. Хули делать. После праздника выправили меня. Потом нашли все же ебучую клетку. На расстоянии стали моей психикой управлять, и академик сказал на закрытом заседании: «Покажу тебя, Николай, коллегам». Запиздячили в меня штук десять электродов, в разные центры чувств, выводят на сцену. Кимза на расстоянии мной управляет. Выступаю неплохо. Смеюсь, плачу, трекаю без умолку, в гнев впадаю и в милость. Вдруг, сухой мне быть, сам того не хотел, расстегиваю мотню, вынимаю шершавого и давай ссать прямо на первый ряд. Хожу по сцене и ссу. Все, думаю, посадят. У нас одному три года влупили за то, что в клубе с балкона партер обоссал. Или выгонят. Кончил ссать, и, веришь, бурные аплодисменты мне ученые закатили, думали — коронный номер экспериментирую.

Вскоре машину я купил, катер и полдома на Волге. Рыбачу в отпуске. Самое лучшее в жизни, скажу я тебе, кинуть палку в березняке любимой женщине и забыть к ебени матери

науку биологию, в гробу я ее видал в босоножках. Ведь они что теперь задумали. Кимза открыл, что я при оргазме элементарные частицы испускаю или излучаю, хер их разберет, потому что в мозге взрыв огромной силы происходит, почему и в обморок падаем. Хотят меня в магнитную комнату засадить на пятнадцать суток, камера Вильсона она называется. Я было уперся, а Кимза говорит, что, если мы на тебе кварки поймаем, Нобелевская премия обеспечена. Я и согласился. Человек же к любой работе привыкает. Вопросы есть? Урка международный у нас работает: я устроил. Опыты по лечению импотенции на нем делают. Неплохо зарабатывает. Ну что еще? Кварки — это самые простые частицы, из которых все сделано. В оргазме их и изловим, американцам козью морду заделаем. И это — тайна, учти, сука. Потому что страна, которая первой кварки откроет, сможет с ходу весь мир уничтожить и замастырить его заново из тех же самых кварков. Выпьем давай за науку!

15

Впрочем, стоп! Не хочу я за науку пить. У меня на нее большая душевная обида. Спасибо, конечно, за судьбу встречи с Владой Юрьевной, что воровать я завязал, за достаток, так сказать, и придурочную работенку в нашем соцлаге. Спасибо! Ну а если рубануть правду, нужна она лично мне, эта наука ебу-

чая? Тебе она нужна? Вон по улице бабка полунищая идет, ногу за собой отсохшую волочет. Ей наука нужна? Да! Нужна! Ногооживляющая только наука, а не в жопу электроды вставляющая. Ты вот выскочи для интересу, дай бабке денег немного да скажи: вот, бабка, есть у меня друг. Знаешь, чем на жизнь зарабатывает? В институте секретном... как бы это сказать повежливей?.. Скажи так: пипку свою трясет за уши и сдает вещество, из которого пацанва потом развивается. Беги и скажи. А я посижу и подожду. Наука, скажи, его к тому приговорила. Беги, кирюха! Беги-и-и! Не отсохли ведь ноги? Что тебе бабка ответила? Не врать. Перепроверю... Правильно ответила. Я и есть дурак. И Бог, надеюсь, меня простит. Может, я и впрямь не ведаю, что я творю? Не могу понять: ведаю я или не ведаю. А понять надо бы до Страшного суда. Он тебе не нарсуд. Там не прикинешься дурачком и не уйдешь в глухую несознанку. Там как примутся тебя раскалывать архангелы — народные заседатели, так от тебя брызги правды во все стороны полетят, чтоб другим в следующей истории неповадно было. Если встретишь еще эту бабку, поддержи финансами, я тебе верну, и добейся от нее, как быть человеку, если он не дотумкает, ведает он или не ведает, что творит. Спроси. А с другой стороны, чего мучиться мне — темному лесу над рекой, когда наш академик, уж у него-то звезда во лбу горит, сам ни хуя толком не понимает. Я уж

трекну тебе напоследок, как мы по душам однажды разговорились. Приляг на софе, как шах персидский, и слушай. Но, если перебьешь дурацкими вопросами, я тебя вместе с софой коньяком оболью и подожгу. Софе ничего не будет, а ты попляшешь.

Была у нас в лаборатории лаборантка-стучачка. Стучала, потому что племянницей приходилась начкадрами и в науку мечтала войти впоследствии. А что нужно в наши времена для этого тупому человеку, кроме стукачества? Найти, кирюха, закономерность надо. Без нее ты хоть на папу и маму стучи, ставки тебе после института не видать как своих мозгов. Молчи! Это раньше говорили «как своих ушей». Теперь открыто, что уши можно рассмотреть в зеркало. Попробуй же рассмотри мозги. Не вставай только с софы. Не рвись к зеркалу, дубина... Но как найти закономерность в чем-либо? Поймешь по ходу дела... Девицу ту, лаборантку и стучевилу, звали Поленькой. Телка плоскозадая. Подходит однажды ко мне и говорит:

— Николай Николаевич, я заметила, что некоторые книги влияют на вашу эрекцию хорошо, а другие плохо и отдаляют оргазм иногда на пятнадцать — двадцать минут от начала мастурбирования. Помогли бы вы мне опыты провести, чтобы обнаружить закономерность такого явления. У меня какая гипотеза? Ведь что люди имеют в виду, когда говорят про прочитанную книгу, интересна она или неин-

тересна? Они бессознательно констатируют наличие момента возбуждения высшей нервной деятельности или же торможения в случае отсутствия интереса. Так? Давайте же бросим беспорядочное чтение, чтобы все было по Павлову. Я вам могу приплачивать за участие в опыте. Список литературы составлен. Как?

— Валяйте, — говорю. — Книжки я читать люблю, но говна среди них много. Верно, что тормозят.

— У вас, Николай Николаевич, член ужасно чуткий к феномену эстетического. Я такой первый раз встречаю.

— А много ты их вообще встречала? — Я залыбился.

— Только договоримся не беседовать на темы, не имеющие отношения к опыту. — Обиделась Поленька.

— Хорошо. С чего начнем?

— Мне очень нравятся книги Ю. Германа о чекистах. С детства люблю их. Волнительные книги. Вот роман о Феликсе Эдмундовиче. Я прикреплю к члену датчики. Температурный и кинетический. Ваше дело — читать и ждать эрекции.

— Мешают мне датчики, — говорю.

— Без датчиков нельзя. Мне необходима графическая запись всех показаний.

— Ладно. Давай сюда своего Германа с чекистами.

Разговор этот, кирюха, происходил у нас

перед одним ответственным опытом. Кимзе пришлось через директора института и партком распоряжение из ЦК партии, чуть не от самого Сулова, — осеменить во что бы то ни стало жену то ли шведского какого-то влиятельного политика из социал-демократов, то ли американского миллиардера — большого друга Советского Союза. Забыл. Это Кимза мне объяснял. В ЦК, пронюхав про наши Никитой реабилитированные опыты, решили нагреть на них руки. Валюта-то нужна. Где ее брать на то на се, и компартии иностранные к тому же, как птенцы в гнездах, сидят, жрать хотят и клювы раскрывают. Шевели, выходит, хуем своим двужильным, Николай Николаевич, осеменяй. Космос обслуживай! Давай сведения для лечения импотенции физиков-ядерщиков и секретарей обкомов.

В общем, приводят в лабораторию жену шведского социал-демократа или американского друга, не помню. Сажают в спецкресло и мне велят начинать. Лаборатория уже предупреждена. При команде «Внимание — оргазм» все занимают свои места, осеменяемая Советским Союзом расслабляется, улыбается, вырубить голос Левитана, прекратить шуточки, вытереть руки, ходить на цирлах, сознавать ответственность момента.

Представляешь, кирюха. Шведская дама там расслабляется-улыбается, к осеменению блаженно готовится, лаборантки стоят по стойке «смирно» у ее отворенного чрева, друг

Советского Союза внизу небось в фойе нервно букет роз теребит, а я тут с проклятыми «ангелочками»-чекистами мешкаю! Страх меня взял. За осеменением из ЦК наблюдают. Сам Суслов давит косяка. Госбанк уже валюту считать приготовился. Того и гляди, думаю, дернут тебя, Коля, за саботаж на Лубянку. Нажимаю кнопку. Входят Кимза и Поленька. Влады Юрьевны в тот день не было. Ее в Академию наук вызвали.

— Осечка, — говорю Кимзе. — Не стоит у меня.

— Ты о чем думаешь на работе? — шипит он.

— О гражданской, — отвечаю правдиво, — войне и красном терроре.

— Осел! Всех нас под монастырь подводишь! Начинай снова. Думай, черт бы тебя побрал с твоими думами, о чем-нибудь более приятном. — Тут Кимза взглянул на Поленьку и поправился. — О чем-нибудь то есть менее значительном, о балете на льду, например, «Снежная фантазия».

— Лед, — говорю, — не возбуждает меня. Снег тоже.

— Тогда о женской бане думай! Ты понимаешь, какой сейчас ответственный момент? Нам лабораторию могут ликвидировать на хер! Представь, что ты банщиком в женской бане работаешь!

— Хорошо, не шипи только, — говорю.

— Быстро давай!

— Быстро, — отвечаю, — Тузики и Бобики кончают, а я — человек! Советский причем. У меня нервы исторически издерганы.

— Начитался, балбес, книг. Приступай к делу!

Ушел Кимза. Поленька ни жива ни мертва. Благодарит, что не продал, и сует мне рассказы Мопассана.

— Вот этот, — говорит, — читайте, он очень интересный.

Веришь, кирюха? Встал, как пожарная кишка на морозе, не разогнешь. Встал на первой же странице, а я читаю быстро. Бывало, следовательно целый месяц дело пишет и днем и ночью, а я его за десять минут вычитываю и подписываю. Читаю, значит, Мопассана, толком ничего не понимаю, но чувствую, дело к ебле идет по сюжету. Муж уехал на один день в командировку и велел Жаннете не скучать без него. Она была круглая дура и послушная жена, раз велел Морис не скучать, подумала она, то я и не буду. Я его люблю и не могу послушаться. А по улице в это время шел трубочист. Она и говорит ласково, перегнувшись из окошка так, что сиськи чуть не выпали на парижскую улицу: «Милый Пьер, зайдите ко мне прочистить трубу». Ну Пьер, такая уж у него работа, зашел и прочистил. И вот, кирюха, какой замечательный писатель Мопассан! Я ни о чем не догадался, пока муж не приехал из командировки. Он приехал и говорит утром жене Жаннете: «Жаннета, я весь в плоть

до нашего милого дружка вымазан в черном. Что это?» Она хоть и дура была, но нашлась. В такие минуты дураков нет, кирюха. «А не спал ли ты, мой котенок, с прелестной негрятяночкой?»

Ох, и похохотали они тогда над ее шуткой, за животы держались, и Морис снова полез на жену Жаннету. А когда, очень довольный собой, он уходил на службу, то сказал: «Пожалуйста, птичка, пригласи трубочиста. У нас труба не в порядке».

На этом рассказ кончался, к сожалению. Но я был в форме. Беру в другую руку пробирку и уже слышу, как Кимза орет: «Внимание — оргазм!»

И что ты думаешь? Попала от меня та дамочка. Мгновенно попала. Распорядился мой Николай Николаич в ее фаллопиевой трубе. Благополучно родила у нас же в клинике. Я видел мальчика. Симпатяга. Теперь ему двадцать лет. Беда только, что ворует. По карманам лазит, несмотря на богатых папу и маму. В меня пошел. Это мне Кимза рассказывал. Может, и шутит. Но из того, что шведские социал-демократы боятся связываться с нашими диссидентами, я пришел к выводу, что та дамочка была не американка. Рассудил логически.

Вот Поленька тогда сообразила что к чему и стала подсовывать мне на опытах то одну книженцию, то другую. Чего я только не перечитал, кирюха, за целый год эксперимента!

Поленька набрала столько данных, что разобраться в них не могла, а об вывести закономерность без научного руководителя уже и речи не было. Не тянула она на это. Ну и рассказала о своей работе академику нашему со списком прочитанных книг. Там было три графы: «Встает», «Наполовину», «Эрекция отсутствует». В первую графу, раз уж ты интересуешься, попали следующие авторы и книги: «Охотничьи рассказы» Тургенева, «Вий» и «Майская ночь» Гоголя, «Отелло», где негр ревновал. «Золотой осел», там все про еблю. «Как закалялась сталь». «Три мушкетера». «Обломов». «Муха-Цокотуха», меня там возбуждало, как паучок муху в уголок поволок. «Любовь к жизни» Джека Лондона, которого Ленин любил. «Наполеон» академика какого-то. «Степь» Чехова. Стихи Пушкина «Мороз и солнце — день чудесный...» и «Сказка о Спящей Царевне». «Путешествие на Кон-Тики», «Занимательная астрономия», «Книга о вкусной и здоровой пище», и, вот что странно, кирюха, книжонка царского времени «Как самому починить ботинки» приводила меня в ужасное возбуждение. Я потом долго успокоиться не мог. Помню, приятно было читать «Анну Каренину». Правда, при воспоминании о конце этой книги у меня не то что не встает, а вообще хочется положить хер на рельсу, и пушай проезжает по нему трамвай «Букашка», чтобы покончить разом с этим делом, жаль, что выселили его из Москвы. Помню

также «Воспоминания», только не помню чьи. Я все люблю воспоминания и заметил, что люди, которые мне отвратительны, воспоминаний после себя не оставляют, пидады гнойные. Гитлер, например, Сталин, Дзержинский, мой первый следователь Чебурденко, Берия, наш домоуправ Шпоков и другие негодяи. В данных я сам под конец запутался. У меня эрекция начиналась не обязательно от ебливых моментов. Если бы так! А то — нет! Даже Мопассан действовал на меня по-разному. То угнетающе-тормозяще, то доводя до неистовства. Так же и Лев Толстой. Не говорю уж о Достоевском. На что уж там в «Братьях Карамазовых» и в «Идиоте» все с ума от ебли сходят и любви, а я, наоборот, тускнею, задумываюсь, в тоску вхожу. В чем дело? Но стоило взять в руки «Барона Мюнхгаузена» — как штык! Всегда готов к бою!

Полусгибался же у меня от книг Катаева, Каверина, Трифонова, Катарини Сусанны Причард, Джеймса Олдриджа, Теодора Драйзера, Анри Барбюса, Максима Горького, «Тихого Дона», Андре Стиля, Луки Мудищева, «Космических будней», журналов «Здоровье» и «Знание — сила». Всех названий не перечислишь. Да и без толку перечислять. Поймешь потом почему. Но вот совершенно не стоял у меня, словно это мочка уха была отороженная, а не боевой топор, знаешь от чего? Отвечу коротко: от книг, не похожих друг на друга, как день и ночь. От всего соц-

реализма, его Поленька так называла, и от самых неожиданных книг. Ну что может быть общего, кирюха, между романом «Сибирь» Георгия Маркова и «Дон Кихотом»? Грех даже сравнивать. А у меня не стоял ни от того, ни от другого, хотя от «Сибири» я чуть не сблевал, а от «Дон Кихота» плакал три недели, как маленький, и на работе и дома. Или взять какого-нибудь Закруткина-Семушкина-Прилежаеву-Воскресенскую-Сафронову-Грибачева-Чаковского — не путай этого идиота с «Мухой-Цокотухой» — «Кремлевские куранты» Симонова-Джамбула — всех не перечтешь, и все они на одно лицо, как бы ни старались выебнуться почище. Особенно Симонов. Все они, повторяю, на одно лицо, и стоит, ты уж поверь мне, одолеть страниц двадцать, как чувствуешь, что из тебя клещами душу вытягивают, опустошают тебя, то неумением интересно придумывать, то такой парашей, что глаза на лоб лезут. А главное, все они стараются так прилгать, чтобы казалось нам самим и в ЦК: ох, и приличная жизнь в советской нашей стране. Ох, и работают на совесть рабочие и крестьяне. Еще смена не кончилась, а они уже вздыхают: скорей бы утро — снова на работу! Парашники гнусные. Меня-то не проведешь за нос: я уже повидал житуху на всех концах СССР. Но хрен с ними. От них и не должен вставать. При чем тут «Дон Кихот», «Путешествия Гулливера», «Капитанская дочка», «Мертвые души» и многие

другие книги, вот что было непонятно и удивительно.

Пришлось Поленьке расколотся академику. Он просмотрел данные опытов. Проверил статистику, сам обработал ее. Потом однажды говорит при мне Поленьке:

— Есть у вас научное любопытство. Почему же вы не смогли завернуть резюме? Буду короток. Истинная литература имеет отношение не к члену Николая Николаевича, а к его духу, хотя ваш подопытный человек феноменально и легко возбудимый. У него даже от двух слов «женский туалет» иногда встает, не то что от Мопассана. Верно, Коля?

У меня фары на лоб полезли от такой догадливости. Что он, следил за мной, думаю, что ли?

— Так что, Поленька, работу вы до конца не довели, закономерности основной не выявили, но вы способны и любопытны и не брезгуете никакими средствами. Вас ожидает чудесная научная карьера. Сами-то литературой интересуетесь?

— Постольку-поскольку, — сказала Поленька.

— Очень скверно. Запомните: к духу человеческого имеет отношение литература, а не к хую Николая Николаевича. А ты, Коля, — говорит старик, — порадовал меня. Не так прост и низок человек, как порою кажется. И в вас, шалопае, есть искра божья! Есть! — Тут он велел Поленьке удалиться и, главное,

не подслушивать нас, и продолжал: — Надое-
ла небось работенка?

— Да, — отвечаю, — завязывать пора.
После «Дон Кихота» и драть стало очень
трудно и страшно. Чем я, думаю, занимаюсь,
когда надо продолжать войну с ветряными
мельницами?

— Понимаю тебя, Коля, понимаю. У меня
пострашней на душе мука, чем твоя, хотя грех
такие муки соизмерять. Ты вот просто дро-
чишь, пользуясь твоим выражением. А мы все
чем занимаемся? Ответь.

— Суходрочкой, что ли? — говорю, не по-
думав даже как следует, и академик до потоло-
ка чуть не подпрыгнул.

— Абсолютно точно! Вот именно, — гово-
рит, — суходрочкой! Су-хо-дроч-кой! Полной,
более того, суходрочкой! Вся советская, Коля,
и мировая наука — сплошная суходрочка на
девяносто процентов! А марксизм-ленинизм?
Это же очевидный онанизм. Твоя хоть без-
обидна, Коля, суходрочка, а сколько крови про-
лито марксизмом-ленинизмом в одной только
его лаборатории, в России? Море! Море, а по-
лезной малофейки — ни капли! Все вокруг
суходрочка! Партия дрочит. Правительство
онанирует. Наука мастурбирует, и всем кажет-
ся, что вот-вот заорет какой-нибудь искале-
ченный Кимза: «Внимание — оргазм!» — и
настанет тогда облегчение, светлое будущее
настанет. Коммунизм. А ты подрочил, побало-
вался и хватит. Не погиб в тебе, Коля, чело-

век, как, впрочем, не погиб он от суходрочки советской власти. Придет, надеюсь, пора, и он завяжет, как ты выражаешься, завяжет и займется настоящим делом. Хватит, скажет, дрочить. Подрочили. Время за живое и достойное дело приниматься, а о суходрочке многолетней, даст бог, с улыбкой вспоминать будем. Ты чем хотел бы заниматься, кроме онанизма?

Веришь, кирюха, подумал я тогда: ну на что я способен, просидев полжизни в лагерях и подрочив столько лет в институте? Подумал и вспомнил, что у меня непонятно почему встал, как штык, от старой, потрепанной, выпущенной при царе книжонки «Как самому починить свою обувь».

— Сапожником пойду работать, — говорю. — Я очень люблю это простое дело. А материться больше не буду. Надоело.

— Умница! Умница! У нас и сапожники-то все перевелись! Набойку набить по-человечески не могут. Задрочились за шестьдесят лет. Иди, Коля, сапожничать. Благословляю.

— А как же вы тут без меня? — говорю.

— Управимся. Пусть молодежь сама дрочит. Нечего делать науку в белых перчатках. В свое время я дрочил, хотя был женат, и не брезговал. А чего я, Коля, добился? Стала мне понятней тайна жизни? Нет, не стала. Наоборот! Я скажу тебе по секрету, Коля, — академик зашептал мне в ухо свой жуткий секрет: — Я считаю, что не зря жил и трудился в

науке. Мне, слава богу, стала окончательно непонятна тайна жизни, и я уверен: никто ее не поймет. Да-с! Никто! Ради понимания этого стоило жить все эти страшные годы. Звоните. Приду к вам чинить туфли. И знакомых пришлю.

Тут табло зажглось «Приготовиться к оргазму». Ушел академик. А я, знаешь, кирюха, что завтра сделаю? Не догадаешься, пьяная твоя харя. Я завтра явлюсь на службу, соберу свои книжонки, включу сигнал «К работе готов», а сам втихаря слиняю. Слиняю и представлю, как Кимза вопит на всю лабораторию: «Внимание — оргазм!» — а кончатъто и некому. Заходит Кимза в мою хавирку, кнокает вокруг и читает мою записку: «Я завязал. Пусть дрочит Фидель Кастро. Ему делать нечего. Николай Николаевич». Кимза бросится к Владе Юрьевне: «Что делать, Влада? Остановится сейчас из-за твоего Коленьки наука.» А Влада Юрьевна ответит, она уже не раз отвечала так, когда я не мог, хоть убей, кончить: «Не остановится, Анатолий Магомедович. У нас накопилось много необработанных фактов. Давайте их обрабатывать».

Москва, 1970

МАСКИРОВКА

1

Вот ты, Гриша, хоть и генерал-лейтенант, но брательник мой, и если ты не веришь мне, если не прекратишь погонями трясти и орденами брякать от хохоту, то я тебя и за хер собачий считать не буду, не то что за генерала. Да! Это произошло в тринадцатую зарплату, которую, говорят, изобрел сам Карл Маркс, но при культе личности скрывали ее от рабочего класса, скрывали. Только не вороти свое рыло генеральское от культа личности. Знаем, почему он вам по сердцу пришелся, знаем. И ты знаешь, что ты — паразит с окладом, с дачей, с машиной, блядь, с филе тресковым и так далее. Ах, разъяснить тебе, почему ты паразит, если ты целыми днями орешь «смирно-о!». Пожалуйста! На тебя никто нападать не собирается. Вот и все. На хуй ты кому нужен! Америке? Она сама с собой никак не управится, и если даже допустить, что она тебя завоевала, то что ей с тобой, с одной шестой частью света, делать? Пьянь, рвань, ворье и придурков партийных и военных себе на шею вешать?

Безрассудно. Китай, говоришь? А не ты ли, сука такая, обучал китайцев танки наши водить и косой ихний глаз к нашим пушкам при-норавливал? Не ты? Вот помалкивай тогда и слушай, как твоего родного братца в жопу выебли. Нет! Не в треугольнике, не спортлото, а в буквальном смысле, и, куда в этот момент смотрела наша милиция, я не знаю. Глупо даже меня спрашивать об этом.

Итак, тринадцатая зарплата, в гробу бы я ее видал. Спускаюсь за ней в нашу подземную бухгалтерию. Ты, братец, не притворяйся, что не понимаешь, почему в подземную. Прекрасно ты все, хоть и не здешний генерал, понимаешь. Но, чтобы ты лучше разобрался в деталях нашенской жизни, я тебе сболтну пару военных тайн. Мы тут наверху боремся за то, чтобы наш город Старопорохов выглядел самым грязным, самым аморальным и самым лживым городом нашей страны. Маскируемся, одним словом, а под нами делают водородные бомбы, и товарищ иностранец, разумеется, ни о чем не догадывается. Сам я маскировщик восьмого разряда. Мое дело — алкоголизм. Бригадир. Как получка, так моя бригада надирается, расходится по городу, балдеет, буянит, рыла чистит гражданам, тоже маскировщикам по профессии, а я как старшой должен завалиться на лавочке возле Ленина и дрыхнуть до утра. Как я выучился, как пошел по этой чаети, так с бабой, с Дуськой, начались у нас нелады. Я же все на работе и на работе, по-

сколько пить надо, естественно, от получки до получки, а жарить Дуську некогда. Утром вся моя бригада опохмеляется, потом собрания бывают, товарищеские суды и так далее. Общественных обязанностей тоже хватает. И бригадирство свое давно бы бросил, если бы не сукоедина одна из бригады. Вот рассчитаюсь с ним и брошу. Но о нем речь впереди. В общем, с бабой нелады. И не у меня одного. У всех моих алкашей дома преисподня. Ужас. Мрак... Мы ударники коммунистического труда, а дети у нас выпадают, как шары в спортлото: все не то и не то. Запоздалое развитие, замедленные реакции, негативизм, рахит, хромосом каких-то не хватает, глухие, одноглазые, шесть пальцев, правая рука — левая, а левая — правая — всего не перечислишь. Рекорд Тетерин поставил. У евонного Игорька два языка, и оба — говорящие. Да, братец, не удивляйся! Маскироваться от Пентагона — это тебе не берлинскую стенку охранять и всяких чехов перевоспитывать. Повторяю: не удивляйся. Наши электронщики все выверили, просчитали и запрограммировали. Как спутник американский пролетает над Старопороховым, так у наших гастрономов очереди выстраиваются, вроде бы мясо, масло и колбасу дают, автобус переваливается по колдоебникам, пионерчики маршируют, поют песенки про вечно живого Ильича, грузины гвоздику продают, бляди куда-то бегут за дубленками, в парках драки, в баньках парятся, театры, ко-

нечно, танцульки, — одним словом, видимость жизни заделывается, маскировка, бра-тец, маскировка!.. И я вот иногда прочухаюсь после работы, просплюсь, щец хлебну с чесноком и сметанкою, выйду на нашу Фрунзенскую набережную, сяду на пригорочек над речкою Пушкиной, гляну вокруг на мостовые горбатые, на дома вшиво-серые, на общую облезлость жизни, на зачуханность своих земляков и несчастных детишков и чую, гордость в душе шевелится: сколько же, думаю, сделано за эти годы, ебит твою мать! Сколько объектов маскировочных построено! Больницы, школы, ясельки, садики, кинотеатры, в которых такое говно показывают, что сразу бросаешься к телевизору, а там тоже сплошная маскировка. Но это я отвлекаюсь. Немало сделано за эти годы. Вот бассейн открыли новый. Море, а не бассейн. В нем уже трое из нашей бригады во время исполнения служебных обязанностей потонули. Шпионы, дипломаты и цэрэушники бывает приезжают и купаются в нем, спутники самые секретные американские над ним летают — и что? А то, что Пентагон только соплю в себя втягивает зеленую и не допирает, что под самым бассейном у нас реакторы установлены и бассейновая вода охлаждает их, очищается и опять наверх подается. Понял? Вот это — маскировка! Но хули там бассейн. Ты стадион возьми. Под ним партком первичной сборки водородных бомб. Матч идет. Наши маскировщики-бо-

лельщики вопят «шайбу! шайбу!», а внизу партком заседает и решает взять повышенные сообразительности к шестидесятилетию советской власти — выдать на-гора сверх плана восемь бомб. И нету у Пентагона такой техники, чтобы подслушать речуги нашего парткома, когда орут ребятишки «шайбу! шайбу!». Это вам, падлы, не уотергейтская гостиница... Сижу я, значит, на пригорочке, над речкою Пушкой, люблюсь городишком своим Старопороховым и лыблюсь про себя с большим удовлетворением. Чего только не писали и не пишут о нем в вонючих зарубежных газетках! И голоса его всякие ругают, и по волнам немецким бубнить не перестают. Дескать, дороги плохие, мяса, масла, филе трескового в магазинах нету. Врачам времени хватает, чтобы вылечить только одного шестого, а пятеро или хворают, или же подыхают. Дескать, зарплата низкая, религию убивают, обувь — говно, старый автомобиль дороже нового стоит, сажают кого-то, высылают, пшеницу у Америки покупают, БАМ строят с песней, равнодушно голосуют за народных судей, воруют повсеместно и на народ, в общем, непохожими стали, душевно разложились, даже не для маскировки пьют, пьют, пьют.

Да, думаю я на пригорочке, все это обстоит именно так, а может, еще в тысячу раз хуже, потому что своему глазу виднее. Да, обувь — говно. Да, пьем! Но зато сие наверху, на земле, вокруг нас, так сказать, а внизу, в просторных,

залитых, блядь, искусственным солнечным светом цехах, лабораториях, кабинетах, взрывариваемых и парткомах лучшие советские люди куют в белых халатах атомно-водородный щит нашей Родины, или же меч, если мы ебнем по вас первыми, Господа Удавы!

Подземная наша служба знает свое дело туго, а мы — наземная — тоже не олени сохатые: и план перевыполняем, и рационализацию не забываем. Насчет плана, братец, дело обстоит так: лично моя бригада пьет в счет 1999 года. Теперь — рационализация. Поддали мы как-то на профсобрании все вместе, и Тетерин, у которого Игорек с двумя языками родился и растет, предлагает: снизить надо качество водки. Аплодируем. Ведь вроде дурак дураком ходил Тетерин, у бензоколонки, где интуристы-шпионы заправляются, валялся на своем посту пьяный, а тут пошевелил мозгами и выдал буквально инженерную и экономическую идею. И ни одна голова до этого раньше не додумалась, хотя идея просто валялась на поверхности нашего Старопорохова. Про Тетерина потом статья даже появилась в «Высшей Правде» — «Идея: простота и изящество». Он, сука такая, революцию, можно сказать, произвел в виноделии. Химики с ходу внедряют его предложение в жизнь. Снижают они качество водки. Не сразу, между прочим, снизили качество. Несколько лет химики бились. Не давалась водяра, не хотела портиться, но одолели-таки ее наконец. Государству

она стала обходиться в сотни раз дешевле, а балдеть мы — самогонщики-маскировщики — стали сильнее. С похмелья злей стали, и дети опять же выходят косорылыми с гнилой геной. Коэффициент маскировки, следовательно, выше... Так-то вот, братец, вкратце обстоят дела в Старопорохове. Все, что слышал, забудь, не то меня в реактор бросят без всякого суда, как Пронькина, и собирай тогда братца обратно по молекуле. А раз уж я растрепался, то стесняться теперь своей информации не намерен. Я тебе все выложу.

2

Сегодня у меня отгул, мы на кладбище сходим, посидим над могилкою, стариков помянем, потом пообедаем в Дуськиной, бабы моей, столовой. Она нам в кабинете накроет, и я тебе отвечаю: закусим от пуза, без всякой маскировки. Селедочка — значит, селедочка! Дунайская! С нее шкуру сдерут, а жир на ней такой, братец, нежный, что тает на твоих глазах от тепла и света электролампочек. Перламутр! По соляночке врежем. Тоже без маскировки, не то что для работяг. И почки в ней парные, и сосисочки, и мясо, и каперсы — все, что положено, вплоть до маслин. И разумеется, шашлык. Ты такого в Кремле не рубал! Туфты в нем ни вот столечки! Барашек. Дуська его в сухом вине вымачивает, лучок, травки там, перчик... с ума сойдешь! Живой

шашлык, форменно живой, жевать его абсолютно не надо, он сам в тебе до самого желудка распоряжается. Кстати, работяги, маскировщики наши, народ; одним словом, все знают. Как же не знать, если им шашлык из бельдюги и акульею мяса дают, жаренный на сковородке, на постном масле, в котором до этого уже тысячу пончиков отожгли? Все народ знает. И понимает, между прочим, что шашлык, наш с тобой шашлык, или же кремлевский, — это шашлык секретный, а ихняя солянка — бурдовая, ржавая селедка и биточки подомашнему, в которых мяса мороженого меньше, чем в голодном клопе крови, — маскировка. Ведь ежели бы, братец, народ наш не был такой сознательный и грамотный, то конечно бы он от такой жратвы взбрыкнулся и устроил вторую Октябрьскую революцию, самую натуральную. А он понимает, змей, задачу партии и правительства, кует ядерный щит и меч, хуй кладет на качество пищи и что тресковое филе куда-то пропало. Он сыт не хлебом единым, не то что ваша генеральская пиздобратия... Ну а после обеда пойдём на могилку. Нашим повезло, они на кладбище почеловечески захоронены. Сегодня остальных жгут, а цветочки и букеты, те, что в гробы мы кладем напоследок, не сжигают. Ими опять на Тихом рынке бабы торгуют. Я один раз в Женский день купил такой букет, а он тоскливо пахнет, тоскливо, но свеж и хорохорится. Оттуда все же вернулся. Я говорю бабе: «Ну что,

проститутка, как живешь с этого?» — «Спасибо, — говорит, — маскируемся потихонечку». Скрипнул я зубами, хотел бабе в рыло въехать и в ЦК КПСС отгащить, но тут время было спутнику пролетать пентагонскому. Я в картофельном ряду свалился — букет под щеку, заснул. Да, братец, нашим старикам повезло. А если бы не бетонщик Вуков, сволочь такая, курва и сачок, то не запретили бы кладбища, слово даю, не запретили бы. Парторг наш тогда сказал на митинге: «Успокойтесь, товарищи, не может исторически так быть, чтобы партия всех вас не похоронила!» Что же он сделал, гад такой, этот Вуков? Сидим мы один раз в подземном дворце на торжественном концерте в честь Дня маскировщика, и только Райкин сказал Зыкиной: «Ух-ха-ха! Смерть капитализму!» — как сверху, чуть не на них труп с гробом шмякнулся. Грохнули мы со смеху и аплодируем, не слышим, как Райкин сатиру свою несет о недостатках, а Зыкина же продолжает петь: «Рос-си-я-я! Ро-о-осси-ия!» Сам труп из гроба выпал, лежит нелепо в черном костюме, босой, растерянный, цветочка в гробу, заметь, братец, нету ни одного, и вдруг Тетерин орет «па-па-а!», взбирается на сцену, Зыкину с Райкиным раскидывает к ебени бабушке, берет труп под мышки и опять в микрофон орет: «Товарищи! Это же папа!» Мы по новой аплодируем, грохочем, вот, думаю, номер хуякнули ко Дню маскировщика, а с толка земля сыпется и скелеты. Всю сцену за-

валило. Тут сразу стало ясно: авария. Потом уже экспертизу навели, ну и конечным делом оказалось: виновен Вуков. Арматуру, сволочь, забыл в перекрытие положить, потому что из этой арматурной проволоки делал ограды на кладбище, халтурил, он же прямо под ним вкалывал. Вот кладбище и провалилось на сцену. А папаню Тетерин еще раз хоронил. Что-то у него все двойное: похороны, поминки, язык у Игорька, хотя сам — сволочь, и, если б не он, никогда бы я педерастом не сделался. Ты, братец, не волнуйся, и до этого дело дойдет. Все узнаешь. Только держись. Держись, братец генерал! Жизнь прожить — это тебе не границу с Чехословакией перейти, как любит говаривать мой дружок Вася. Он тоже вроде тебя — танкист. Но хрен с ними, с вашими танками, хотя все равно ни я, ни моя бригада, сколько ни крутим своими шариками, никак не можем понять, почему мы захватили эту ебучую Чехословакию, если она нас захватывать не собиралась, а вот на Китай не двинулись, не врезали по нему лазером? Почему? Во-первых, мы перед сменой газеты читаем и видим: китаезы такие наши враги смертельные и такая внутри у них катавасия происходит, что ни в какие Кремлевские ворота не лезет по сравнению с чехами. И маскировка у них почище нашей, а под каждым городом, под каждой даже, говорят, фанзой или же завод, вроде моего, или же шарашка, где они вручную водородки мастырят. Они та-

кой технологией не брезгают, лишь бы было чем по нам вдарить. Так почему же, генеральская твоя харя, политбюро такую хуйню допускает? Что оно, очумело, что ли? Что оно, не просралось после банкетов и вечного праздника и не понимает, что у китайцев не 800 000 000 человек, а в два раза больше, и остальные под землей на бомбах и ракетах заняты? Им же Зорге-2, Зорге-3, Зорге-4 и даже семнадцатый Зорге каждый день морзянку отстукивает: пиздец... пиздец... пиздец... Что им, третьей отечественной войны захотелось? По военной романтике соскучились, суки? Брежневу, конечно, хули? Выйдет на Мавзолей, бровками двинет, откашляется, стаканчик коньяку хлобыстнет и, вроде того, рябого и любимого, слезу в микрофон пустит: «Дрогие братья и сестры, дети и внуки! В этот охуевающе тяжелый час для нашей Родины я обращаюсь к вам, друзья мои! Враг коварно перешел границу у реки и сорвал строительство БАМа. Смерть китайским оккупантам! Не все коту масленица! Головокружение будет за нами!»

Я по твоим глазам, братец, вижу, что ты именно этого хочешь. Мой друг кирюха Наум, он еврей и поэтому стихи пишет, правильно говорит: «Поэт хочет умереть на родине, а генерал же на войне». Вот ты иди залезь на Останкинскую башню, выпей в ресторанчике поднебесного полбанки, закуси, повоюй с проклятыми официантами, бутылкой шампан-

ского окно выбей и лети себе вниз, погонами, как крылышками, помахивай. А меня и мою бригаду... сколько в ней, между прочим, человек, я тебе никогда не открою, это святое у меня, тайна, бригаду мою, подчеркиваю, не тяни за собой, не тяни. Хватит с нас. Нам шестьдесят лет уже всем до одного стукнуло. У нас гражданская за плечами, голодухи, раскулачивания, посадки, фюрер, Сталин, Никита цены взвинтил, а теперь еще такси подорожало. Вдвое! Вдвое! Между нами, братец, Косыгин обнаглел. Ну ладно, он, говорят, на Зыкиной женился, ладно. Женился, не прозевал, козел старый, схватил индюшку и сопи себе в обе ноздри. А он за такси взялся. Вот кончил бы вроде Пасова смену на другом конце города — ночь, транспорт весь помер, в руках и ногах дрожь, и дрожать им до одиннадцати утра, а в кармане двушник. Хватало его раньше с чаевыми, чтобы до дому добраться и еще на кружку пива оставалось. Что же наблюдаем теперь? Таксист тебя выбрасывает на полпути, и прешь до дому на своих. Прешь чуть не на карачках, до того ты домаскировался, план выполняя. И старался ведь не для себя, а для того же Косыгина, Пентагон объебывал. Так зачем же на такси цену удваивать? Вы лучше бомбы подешевле придумывайте! Вы со своих физиков и электронщиков за то, что они мозгами, падлы, не ворочают, взыщите сполна! Я у парторга на днях спрашиваю: «Можно мне как бригадиру выйти на Тихий рынок

и сказать народу, что Косыгин — козел, где тресковое филе и руки прочь от такси?» Парторг говорит: «Выходи. Ори сколько вздувается, янки как раз со спутников нас подслушивают, и заявляй что хочешь. Это даже великолепно будет для объективной маскировки. Ты знаешь, — спрашивает парторг, — что мы в Хельсинки соглашение подписали? Вот и ори, создавай демократию и свободу слова, а что с тобой делать, решим позже».

Хорошо. Прихожу на Тихий рынок. Объект тяжелый. Дипкорпус продукты тут покупает, потому что от нашей магазинной еды у него гастрит, изжога и камни в желудке. «Почем, — говорю, — говядина?» — «Шесть рублей», — отвечает колхозница. У нее задача маскировочная, но сверхсекретная: мы с бригадой бились, бились, никак не могли понять, почему партия и правительство изредка продают народу мясо в три раза дешевле, чем какая-то краснорылая сучка. Ну почему? Я понимаю: дипкорпус тут пасется. Но народу-то в Старопорохове больше, чем цэрэушников! Неужели колхозники так заелись, что диктуют свои цены не только нам, но и членам политбюро? Это, товарищ-братец, генерал-лейтенант, уже не диктатура пролетариата, а грабеж среди бела дня того, кто Зимний взял и исключительно отдал этот красивейший Зимний дворец в руки парторгов, секретарей райкомов, обкомов и прочих придурков. Вот что это такое, когда на такси вместо одного рваного

приходится два новых выкладывать. И не надо меня прерывать, не надо торопить. Раз мы свиделись наконец, то уж я расскажу тебе свою историю до конца... Диктатура пролетариата! Да если бы тыркнуть Маркса-Энгельса-Ленина бородами и ебалами в петрушку, хвостик один только тонюсенький двадцать — тридцать копеек стоит, или в лук, морковь и прочий овощ на Тихом рынке, то они наверняка подумали бы: нет, товарищи, надо не революции устраивать, а цены на рынках снижать и гастрономы заваливать продуктами! Вот как они подумали бы и поехали бы на рыбалку на речку нашу Пушку. Закинул бы Карл Маркс мормышку в прорубь и сказал бы Энгельсу: «Ну как, Федя, клюет?» — «Нет, Коля, одиноко. Очень одиноко», — сказал бы Энгельс и спросил у вечно живого трескового филе: «Эй, Вова, клюнуло?» — «Мы, большевики, намерены настолько загрязнить окружающую среду, господа отзовисты, насколько этого потребуют интересы пролетариев всех стран».

3

Вот, товарищ генерал-лейтенант, какие дела на Тихом у нас рынке, но брюзжание, недовольство, жажда справедливости и другие беспартийные чувства выходят из души постепенно, с трудом, но выходят. Ляжешь себе в капустно-квашеном ряду и думаешь: хрен с

тобой, покупай телятину, дипкорпус, зимой груши дюшес, огурчики и помидорчики, лопай, когда я себе укропчику не позволяю, а под самым рынком знаете что? Не знаете! ОТК! Там бомбы бракуют и на боеголовки знак качества ставят. Вот над чем вы раскошеляетесь, пока мы идем к коммунизму.

Ты, братец генерал, спрашиваешь, почему я так много уделяю времени рынку. Повторяю: Тихий рынок — один из моих объектов. И халтуру я там, подрабатываю. Ведь у нас, алкашей-маскировщиков, как бывает? Выйдешь на работу, а материала нет. Не останавливать же производственный процесс? Приходится на свои брать водяру или же одеколон, керосин, кармазин и «Солнцедар» проклятый. А своих у нас почти всегда ни шиша. Бабы отбирают, алименты и так далее. Спецвок нам, кстати, Косыгин не выдает. Это у него Зыкина перед каждой песней переодевается, как будто пачкают ее песни, а мы во всем своем работаем. Дуська моя, бывало, говорит: «Сволота! Пьянь! Я в химчистку бегать не успеваю». А я ей тогда в ответ: «Спокуха, Дуся. Я — не Брежнев Леонид Ильич. У меня один костюм, а у него 200 миллионов, и я в своем к тому же и дома, и на посту, и на партсобрании». Так что на рынке я подхалтуриваю, а пост мой основной на лавочке около Ленина. Там меня, между прочим, и огуляли, пидором сделали. Но возвратимся к тринадцатой зарплате. Нас в тот день бригадой комму-

нистического труда сделали, вымпел вручили, пару каких-то знамен, и прямо на сцене Дворца съездов, потолок к тому времени заделали в нем, чтобы трупы и скелеты вниз больше не шмякались, прямо на сцене видная такая хмырина — главный инженер по замораживанию зарплаты — выдает нам конвертики. Голубки на них, на конвертиках, летают и в клювиках лозунги несут: «Народ и Партия едины!», «Слава КПСС!», «Мы придем к победе коммунистического труда!».

Я в ответ речугу кидаю, а сам наверх по-сматриваю. По моим расчетам могилка всех наших прямо над трибуной должна находиться. И как-то муторно мне на душе от этого и стыдно почему-то слова говорить — тоска, одним словом. Не могли уж Дворца съездов не под кладбищем расположить, а под вытрезвителем, скажем, или под зоопарком. Всегда у нас какая-то хреновина происходит с проектами, идиоты везде сидят... Ну, что-то я с трибуны вякнул, вызвал на соревнование бригаду Шульцова. Они посуду пустую собирают и сдают. «Это, — говорю, — дорогие товарищи, и есть коммунистический труд. Одни больше выжрут, другие, следовательно, больше сдадут!» Парторг мне лично тогда похлопал. Тот день почему еще ответственный такой был? Американцы запустили сразу восемь спутников, и выходило так, что они Старопорохову нашему продыху не давали. Один пролетит, за ним другой. Парторг всем нам и наказал:

«Чтобы все, как в Большом Малом театре, было, ребята! Маскируйтесь!»

В общем, одно к одному все в тот день поперло: и тринадцатая зарплата, которая, как сказал парторг, зеркало прибавочной стоимости, и митинг всех бомбоводородчиков, и Пентагон с ЦРУ со своими спутниками. Поддали мы сначала за Манькиным пивным ларьком, потом за Анькиным, затем за Зинкиным. Тетерин вдруг орет: «Летят! Летят! Из-за луны один, другой из-за месяца!» А Петя транзистор свой достает с антипомехами, и точно — по «Свободе» какой-то трус и предатель вещает: «В этой бездуховной атмосфере, отравленной лживой пропагандой мертвых идей, мутная волна алкоголизма с головой накрыла все слои населения».

Я говорю бригаде: «Вот что значит отличная маскировка! Не успели спутники пролететь, как про нас уже голоса передают! Спасибо, ребята! По постам разойдись!» Сам тоже иду, не помню как, на пост, но думаю: «Сильна у них техника, сука такая, сильна. Только дура. Не видит за гнилым фасадом существования наших недостатков главного».

4

Лежу на лавочке возле Ленина, в небо смотрю, не стесняюсь нисколечки. Фотографируйте, падлы, пронзайте меня и всю мою бригаду инфракрасным звуком. Мы свое дело

сделали, взяли удар на себя. Зато под нами физики-теоретики сидят, лбы у них титановые, сидят и кумекают, как сделать так, чтобы бомба была меньше, а взрыв ее больше и чтобы удобно было перевозить бомбы с места на место. Вот ты, братец, хоть и генерал-лейтенант, но ни хрена не знаешь, как бомбы атомные и водородные маскируют. Но тебе я скажу, и ты меня не продашь, потому что Подгорный новый указ подписал: того, кто слушает военную тайну, — расстреливать, того же, кто ее выдает, — снимать с работы и на пенсию по инвалидности. Это — умный указ. Атомки перевозят очень просто и только по четвергам. Грузовик с надписью «Мясо» спускается под землю, там в него кладут тройку бомб, и он себе спокойно прет по Старопорохову мимо гастрономов, столовых, кафе, ресторанов, шашлыков из пончиков — прямо к товарной станции. Носильщики волокут бомбы в вагон-ресторан, и понеслись они по стратегическому назначению. Тут тоже наши умы неплохо сообразили. Ведь по четвергам рыбный день, в вагонах-ресторанах жрать нечего, а мяса вообще нет в Старопорохове, чего же грузовикам зря простаивать? Водородные же бомбы возят совсем по-другому, братец. Их трясти нельзя. Может, видел, телеги на импортных резиновых шинах стоят у райтопа и битюги там же топчутся? Так вот, никакой там не райтоп, хотя голоса передают, что не везде у нас еще центральное отопление. Там — лифт из

цеха главной сборки. Грузят одну бомбу на телегу, обкладывают березовыми дровами, связывают веревочкой, полковник-кучер шепотком говорит битюгу: «Шагом марш!» — и едет себе бомба, и мягче ей на шинах, купленных у той же Америки, чем на перине. А полковник-кучер вроде пьяный и носом клюет, вожжой пошевеливает. Вот как бомбы возят. А вот что такое перевозят в грузовиках, на бортах написано: «Ешьте тресковое филе! Вкусно! Питательно!» — клянусь тебе, сам не знаю. Наверняка какую-нибудь такую плюху, от которой расколется наш земной шар пополам и будут обе половинки летать рядом. Половинка — наша, половинка — американская, а Китай сделаем спутником, вроде Луны. Тогда и само филе, возможно, появится в магазинах. Но это все только мечта, генерал, личная моя мечта... Короче говоря, вдруг продираю глаза от незнакомой и страшной боли в заднем проходе. Жжение и боль. Башка тоже, естественно, трещит. Не рассвело еще, а может, только начало светать. Охаю, поднимаю голову, а надо мной голос: «Лежите спокойно, Милашкин, не мешайте делать замеры». Чувствую еще, кроме жжения и боли, что ветер по поверхности моей жопы гуляет. Значит, я голый? Да. Брюки приспущены до пят. Партбилет на месте — грудь колет краешком. Бумажника не чую. Скосил один глаз влево. Женщина в штатском держит рулетку в руке и кричит: «Расстояние от Ленина до ануса пост-

радавшего — восемь. От проезжей части — десять. До Маркса-Энгельса — сорок». Мужик другой конец рулетки не отпускает, прямо в зад воткнул, а баба ходит вокруг меня и метры сообщает. Пытаюсь сообразить, что за новую маскировочную задачу тут выполняют, и не могу. Фотограф подошел, щелкнул несколько раз, ослепил меня светом. Рано было, но милиционеры уже зевак вонючих целую толпу сдерживали. Я снова дернулся, мне стыдно ведь и больно. «Спокойно, Милашкин, нам не нужны пальцы. Нам его отпечатки нужны». — «Кого его?» — «Того, кто вас изнасиловал. А может, вы, так сказать, себя... сами?» — «Вы что, — говорю, — очумели?» — «Ну хорошо. Тогда лежите спокойно». Сердце у меня ек... ек... ек, башка раскалывается, к горлу тоска похмельная подступает, жопу жжет и ломит, кто-то что-то соскреб с нее, через лупу смотрели, потом чем-то намазали, я в бане ихнюю мазь с трудом отмыл, наконец баба говорит: «Найдены два длинных волоса на пояснице пострадавшего!» В толпе шумок прошел насчет того, что длинноволосых много развелось пидаров и наркоманов и что такое зверство совершили около Ленина не иначе как диссиденты и сионисты, больше некому.

А я все ж таки продолжаю верить, что идет особая маскировка в связи с запуском восьми пентагонских спутников сразу и что высший смысл происходящего парторг со временем

мне непременно откроет. Продолжаю верить, несмотря на стыд, рабочее похмелье, боль и легкое сомнение. Правильно или нет мы все же поступаем? Не слишком ли крайняя эта маскировочная мера — отхарить на боевом посту коммуниста и бригадира коммунистического труда? Вдруг вы назовете это потом на очередном съезде партии волюнтаризмом? Жопу мою реабилитируете. А мне, думаете, легче от этого станет? Дело-то сделано! Всунуть-то всунули, хотя и вытащили!.. Лежу на скамеечке, подрагиваю, от мыслей ревизионистских отмахиваюсь. Что я, в конце концов? И не такие еще жертвы люди приносили, по двадцать лет в лагерях хреначили, били их, пытали, измывались, в глаза харкали, а они верили все равно: не за горами ОН, не за горами! А я? Раскис, гадина, от одной палки. В конце концов, во сне это произошло. Я и пикнуть не успел, как бы под общим наркозом. Но, с другой стороны, раз я терплю и боль, и унижение, то почему мне — народу — не сказать, зачем принята та или иная или вот эта педерастическая мера? Почему? Я, может, после объяснения еще раз сам себя под удар поставлю! Мрак.

«Натягивайте брюки, Милашкин!» Оделся я. Встал кое-как. «Что ощерились?» — толпе говорю. Смеются, змеи. «В милицейскую машину, пожалуйста, Милашкин!» Удивляюсь такому обороту дела, но иду. От каждого шага глаза у меня на лоб лезут, так больно и жжет, и

копится в моей душе большая обида на партию. Нет! Не согласен я с происшедшим и письмо в ЦК накатаю... Потом все пошло своим чередом. Протокол. Суд. Пятнадцать суток не поддавал. В башке тихий свет, какого много уж лет в ней не было, и ляпнуть охота стаканчик, словно в юности.

5

Жизнь между тем, братец, в Старопорохове продолжается. Земляки по-прежнему маскируются. Парикмахерша меня брить не хотела, в трамвае все друг на друга волками глядят, человеческое скрывают, машины бегут мимо «Мясо» и «Ешьте тресковое филе»... Домой заявляюсь. «Пидарас пришел! — это теща моя сказала параличная. — Корми, Дуська, своего пидараса!» — «Помолчи, — говорю, — ведьма, а то я тебе судно на голову надену, поплывешь с говном в крематорий».

Смотрю: сидит моя баба Дуська в кухне и плачет. Я ее успокаиваю. Так, мол, и так. Работа у меня вредная, опасная, нужная партии и, следовательно, народу. Мы едины и небывало монолитны, как никогда. Чего реветь? Космонавтов месяцами дома не бывает. А тюрьма не космос, там не пропадешь, и страховку я получу за травму заднего прохода. Чего реветь, Дуська? Я же тебя люблю. Ты жена мне. «Какая я тебе жена? — отвечает

Дуська. — Когда ты спал со мной последний раз? Не помнишь, скотина? Сына твоего взяли, гад пьяный!» — «Как так взяли?» — «Так. Пришли и взяли. Самиздат какой-то нашли и книжку Сахарова». — «Какого?» — «Того самого, который бомбу изобрел». Вижу, братец, вижу, как желваки заходили на твоих военных скулах. Знаю, что ваша генеральская пиздобратия разорвала бы этого Сахарова на атомы, если бы ей волю дали, знаю. Очень он для вас теперь опасен. Вот послушает его партия, и почти всем вам пиздец придет. Хватит, скажут, придуриваться. Валяйте на работу в авиацию, на флот торговый, гоняй трактора по полям, а не танки по чужим странам. Знаю. Но я не об этом сейчас, не о разоружении. О нем пускай Сахаров думает. Я с жизнью своей хочу разобраться. Выходит, я здесь на земле поддаю, маскирую подземное производство водородных бомб, бабу свою по занятости не ебу уже полгода, а меня в так называемый анус насилуют на посту, сажают, сына же Славку арестовывают за знакомство с академиком Сахаровым. Что же это получается? Заколдованный просто круг. «Дуська, — говорю, — не реви. Тут без пол-литра не разобраться. Мигом слетаю».

Иду первым делом по дороге к парторгу. А он на меня волкодавом налетает. «Партбилет на стол! Сын твой антисоветчик! В бригадах тебе больше не бывать. Бери расчет! Пидарасов в партии не было, нет и не будет!»

Кинул я ему в рыло партбилет, на работу и бригадирство начхать, маскировщики везде требуются. Смотрю под потолок. Внизу ведь партком, а наверху гастроном, и там сейчас небось вся моя бригада. Время без пяти одиннадцатых. Гул с земли до парткома доносится. Топот ног. Не терпится людям. Душа у нас горит синим пламечком. Поднимаюсь наверх по эскалатору. Расчет взял. И мысль одна у меня в голове: разобраться, разобраться, разобраться. Выходит, натурально мне влупили, а не в плане маскировки. Если бы для нее, то и не уволили бы. Правильно, генерал? Но если влупил, то кто? Вот вопрос! А у гастронома народ, вся моя бригадушка. Все опохмеляться пришли, один я — выпить. Но что это такое? Гуськова среди них нету, Долидзе и Доценко. Ударников, зачинщиков, рационализаторов! Волосы дыбом у меня встали, когда узнал я, что Гуськова и Долидзе тоже в прошлую ночь зверски изнасиловали на постах: одного в подъезде кооператива «Витязь», другого за пивным залом «Лада». Доценко же был изнасилован в центральном парке, прямо в кабине «Чертова колеса». Главное, врезали ему, а кабину на самый верх подняли. Утром детишки приходят кататься с туристами, крутанулось колесо, открывают кабину и кричат: «Тетя! Тетя! Тут один дядя спит без штанов!» Народ, естественно, волнуется, Эпштейн; книжек который начитался, говорит, что это бродит по Старопорохову маньяк, призрак коммунизма,

Фролов же прет на него и спорит, дескать, не маньяк, а коньяк. Я говорю: «Это дела не меняет. Личность наша теперь в опасности. Нечего гадать, кто нам по ночам влупляет — диссиденты или сионисты. Важно изловить этого человека и казнить самосудом. Нам за это ничего не будет. Я хоть и вышел из партии, но считаю себя коммунистом. Милиция, конечно, маскируется и не раскроет этих кровавых преступлений. Выпьем же и пойдем по следу». Никто, братец Гриша, на мой призыв не откликнулся. Двери открылись, и вся бригада хлынула в гастронорм, как вода в Днепрогэс, аполитичными стали люди. Более того — равнодушными. Но ты бы глянул на мою бригадушку, ты бы глянул! Разная шерсть. Впереди — рвань, глаза стиральным порошком не промоешь, гноятся, как у бездомных псов, но хвостами вертухают и на кремлевские куранты поглядывают. За ними более гладкая публика, пылинки с рукавов сдувает и чертиков, приглаживает космы, одергивает пиджачки, ровно артисты перед важным выходом. За этими стоят темнилы — а не маскировщики. Газеты читают, книжки, делают вид, что за постным маслом пришли, а не за водярой, сухариком или чернилами. Мы, мол, не с вами. Мы случайно. У нас вечером день рождения Ильича. Суки. Не люблю их и норму завышаю. Ты спрашиваешь, братец, сколько все же в бригаде моей рыл? Точно я тебе не скажу. Тайна есть тайна. Многомили-

онная у меня бригадушка! Писатель есть даже один. В сторонке всегда стоит, на куранты не глядит. Знаем: что-что, а время движется неутомимо к одиннадцати, и никто его не останавливает, кроме ястребов из Пентагона, если они вдруг ебнут по Старопорохову без трех одиннадцати парой мегатонн. Тогда уже, естественно, в опохмелке не будет никакой исторической, как говорится, необходимости. Без шапки писатель. Поднял воротник. Прямо фигурой и недвижим, как в почетном карауле. Думает, видать, но, говорят, тоска его гнет, мнет и топчет, какая нам не снилась... Вот рвань ворвалась первой. Притерлись остальные друг к дружке. Я контроль народный назначаю, чтобы ни одна морда не шнуровалась без очереди. А писатель всегда последним заходит, причем тихо, тихо идет, с большим трудом как бы продвигается к прилавку. Сразу чувствуется, что какие-то силы удерживают его, тянут назад, на нервы действуя, а он, писатель, одолевает эти темные силы, как конь на подъеме, прет, прет, прет, по сторонам не смотрит, не до нас ему, допереть абы, и мы его всю дорогу без очереди пропускаем. Пей, милый, маскируйся, ты запыхался совсем... Беру бутылку и вспоминаю, что Дуське я обещал прилететь обратно. Маскировщики меня, однако, не пускают. «Не дело, — говорят, — бугру намыливаться к бабе в тяжелый для нас час. Четверо наших уже пали жертвами морального урода всех времен и народов. Это же

надо дойти до такого падения! Алкашей, которые важную государственную и партийную работу выполняют, харят по ночам, брюк даже обратно не натягивают. Нет нам покоя, пока не изловим длинноволосого, активного пидараса и выдерем у гондона из жопы ноги, пущай в инвалидной коляске катается!»

6

До Дуськи я, конечно, не добрался. Митинговал. Соображал. К Тетерину в гости ходил. Игорек его с двумя языками песню нам спел «Пусть всегда будет папа!». Смышленный паренек. Вдруг «Немецкая волна» передает про моего Славку. Его забрали, арестовали, тридцать писателей велели Брежневу его освободить. А Брежнев пришел в программу «Время» и отвечает: «Мы поменяем Милашкина на крылатую ракету!» Вот это маскировка! Вот это да! Домой не помню как добрался, на пост не пошел, смятение в душе моей, тоска, мрак. А ходить тяжело, в заду все еще жжет и першит, хотя пятнадцать суток прошло с момента изнасилования, и я никак не могу понять, когда же это мой Славка ухитрился наловить книжек, диссидентом и сионистом заделаться. Когда? Вроде бы на глазах рос, хоккеем вместе смотрели. А его забрали, арестовали, велели паспорт показать. Елки зеленые, елки зеленые. В трамвай люди меня посадили. «Товарищи! — говорю. — Меня из партии исклю-

чили! Можно без партбилета домой поеду?» Молчит народ. Ни слова. Ни взгляда. Маскировка. Спрыгнул на ходу, вынимаю член, извини, генерал, и небу его показываю. Дружинники подходят: «Ты чего?» — «Это я Аполлонам американским предъявляю. Пусть знают!» — говорю. С пониманием отнеслись. Не побили. А в башке, в душе то есть, свербеж: его забрали, арестовали, его забрали, арестовали. Дай-ка, думаю, последний раз посты обойду, как Наполеон, а потом до самой смерти ночевать дома буду. И что же я вижу? Вымер, вымер родной Старопорохов! Ни за ларьками, ни за рыгаловками, ни в сквере около Дзержинского, ни в котельных, ни в роддоме, где ремонт делают, ни в канавах, ни в кустиках — нигде нету моих маскировщиков. Покинуты посты! Переполошились, твари, запаниковали! Анусы собственные вам дороже оборонной задачи! Приложил ухо к земле. Там гул, визжат сверла, сварка трещит, хлоп, хлоп, хлоп — это уран-235 в бомбах утрамбовывают, а парторг речугу кидает: «Пусть знает этот академик, возомнивший себя Тарасом Бульбой, что великий советский народ под руководством своего самого миролюбивого во вселенной политбюро не позволит убить Сахарову то, что он породил! Все на субботник!» Ну ладно, думаю, хоть там, под землей, порядок, а тут покинуты посты! И я вдруг протрезвел. Совсем. Изловлю тебя, гадина, изловлю, свистка только жаль нету милицейского.

Иду к Ленину. По дороге Би-би-си слушаю. Все про Славку моего говорят. Обидно. Мог бы, вполне мог с отцом посоветоваться. Кстати, тебя, генерал, теперь из-за Славки разжалуют или на пенсию прогонят. Вымер Старопорохов, вымер. Только физики-теоретики из-под земли выходят и домой идут по мостовым. Но не в ногу идут. Нам всем запретили и подписку даже взяли ходить не в ногу. Потому что можем по пьянке создать резонанс так называемый, и рухнет перекрытие, не дай бог, над цехом взрывателей или над усушкой дейтерия. Скептически посмотрел я на скамеечку памятную около Ильича. Трезв, а качаюсь для приманки пидараса длинноволосого. Ложусь лицом вниз, прикрываю сиротливо свою голову бортом пиджака, вытрезвителем он воняет, дизобаней и тюрьмой. Нечеловеческие казенные запахи бедной жизни моей. Что сделал я с собой? Холодно, листья осенние слетают с веток, тычутся в меня, как птахи живые, им тоже холодно. А я и забыл, что растительность есть на земле. Птицы есть, козы, кошки, собаки. Где же я, думаю, жил последние полгода, когда ушел в маскировщики? Я жил на мертвой планете, и нам давали перед сменой синий спирт. Белеет Ленин одинокий, замаскированный, а на самом деле под грунтовкой и побелкой Сталин. Да! За это премию дали

одному гусю нашему. Да, да! Тому самому Тетерину. Он говорит на политбюро:

«Вы что, очумели? Зачем же материал портить? Долго ли Сталина залысить, нос подрубить, лоб развести пошире, бородку замастырить и усики подбить? В два счета! А фигуры у них у обоих видные и шинельки с кителями одинаковые, партийные. Да и курс указывают они один — коммунизм. Хули мучиться?» — «Ну, Тетерин, — отвечает Косыгин, — я бы тебя в замы взял, но ты умный ужасно. Скинешь ведь меня, подлец! Признавайся: скинешь?» Тетерин, он у нас такой, говорит: «Угу! Скину!» С тех пор он в моей бригаде... Лежу. Главное, думаю, не задряхнуть. Я очень крепко сплю. Перевернулся. В небо смотрю. Не дремлют, гады. Летают. Ночью я спокоен, ночью хоть видны эти поганые спутники, нафаршированные в ЦРУ приборами. Днем же страшно, страшно, страшно. Мы знаем — летают, но не видим их, хули говорить, с разгонкой облаков и туч у нас еще обстоят дела слабовато. Не видим спутников. Самая тяжелая — дневная смена. Слепым я себя днем чувствую, слепым. О Славке стараюсь не думать. О Дуське тоже. Если о них думать, то поехать можно. Я принес семью свою вместе с тещей, сухой параличницей, в жертву делу, за что исключен из партии и отхарен неизвестным лицом мужского пола.

Опять ложусь вниз лицом и вдруг... Тихо, братец, тихо, тихо! Слышу: топ... топ... топ...

Ветки кустиков хрустнули, подбирается кто-то ко мне. Наматываю покрепче на руку веревочку. Я ее всегда с собой носил, как Зорге цианистый калий, чтобы повеситься в любой момент в случае разоблачения. А придумал я ту ловушку очень инженерно. Сделал большую петлю, накинул под брюками на всю жопу, а конец — в руку. Как только, думаю, он мне влупит, я дергаю, ага, говорю, попался, гаденыш, и волоку его прямо за разбойный член в КГБ, если он диссидент-сионист, или в лягавку, если просто пидарас длинноволосый, Чайковский ебаный! Я себя, конечно, опять под удар ставлю, но иначе с поличным змея никак не изловишь. Он откажется — и все. «Да, — скажет, — снял с него брюки. Мне показалось, что он в штаны вот-вот наложит. С пьянью это случается!» И — все! У него алиби, а у меня от хуя уши. В общем, наматываю покрепче на руку веревочку, силы в меня какие-то вдруг влились, заиграли, словно в разведке я на фронте, паренек веселый. Бесстрашно жду. Будь что будет! Главное — не дать влупить до самого конца. До сих пор ведь больно. Главное — затянуть петлю, когда всего каких-нибудь пара сантиметров его члена в меня войдет, не больше! Захрапел посильней для затравки, промычал что-то, всхлипнул, слюну пустил. Топ... топ... топ... Между прочим, генерал, я с большим интересом, со стороны как бы, прислушивался к осторожным передвижениям этой сукоедины. Ведь не од-

ного меня уже змей перепортил и все же по второму разу пошел, хотя дают за это пятнадцать лет. Он вдруг затих. Чего-то испугался, а я думаю: ну что могло заставить человека харить спящих мирным сном алкашей? Что?

Может, он урод? Или изо рта пахнет и никто из баб ему не дает? Зря! Судя по моей травме, мужик он неплохой и вполне мог бы охмурить какую-нибудь богатую буфетчицу или банщицу из Сандунов. И как так получается, что нет у нас в Старопорохове социальной базы для алкоголизма, блядства платного, иначе говоря, проституции, безработицы, крысы у нас не жрут детей, как в городе-банкроте Нью-Йорке, кризиса нету с нефтью, газом и дровами, а вот пидарасы длинноволосые разгуливают, словно тут Скандинавия? Может, начала природа переход бабы в мужика и обратно? Вот тебе и Верховный Совет!.. Гриша! Цыц! Цыц! Идет, опять идет, ширинку, слышу, на ходу расстегивает, скотина. Все обмозговал! Не на пуговицах ширинка, а на молнии! Вжик! Ты мне поверь, брат, очень странно было ощутить вдруг, что он меня хочет. Меня — Федора Милашкина! Я на секунду ослаб как-то, обмяк, словно баба. Да, да, да! Вот так они нам и дают, между прочим. Ослабла, милая, обмякла, а ты уже — есть во весь! «Ах, раз вы так, то я с вами и встречаться больше не буду! Очень вы быстрый и наглый!» Не вижу его, хоть и приоткрыл слегка левый глаз. Белеет Ленин одинокий... Совсем

близко подошел, последний шаг сделал... Храплю... Сам дышит тяжело... Вот оно! Вот оно! Посвящу ликвидацию одного пидараса шестидесятилетнюю советской власти, посвящу, думаю, страх отгоняя, посвящу! Закидывает на голову мне пиджак. Спешит. Ремень я нарочно отпустил, так что брюки он легко с меня снял, сдернул, жду, сердце останавливается прямо, в ушах шум, давление, очевидно, подскочило, холодно, ветер по мне до самых лопаток свободно гуляет, вазелином запахло, это уже к лучшему, только бы, думаю, не завопить раньше времени, действуй скорей, что ли, гадина!.. Ой, Гриша, брат мой, товарищ генерал-лейтенант, ой! Тут я как дернул веревочку, «ага-а!» — ору, чую — захомутал член по самое горло, вскакиваю и чуть в обморок не заваливаюсь. Это уж мне тюрьма, а не ему, мне! Не меньше десятки! Прощай, Свобода, жизни моей нелепой приходит конец! Он от меня чешет прочь, а на веревочке, в петле, член его оторванный болтается. Ты видел где-нибудь на фронте или в Чехословакию когда входил, такую картину, генерал? Мрак! Зачем же дернул я так сильно? Зачем? Я — за ним. Думать некогда! Не бегу, а лечу. «Стой! — ору. — Стой! Миром дело уладим!» Чешет, не оборачиваясь. Может, соображаю быстро на бегу, отвалить мне в сторонку, хер в урну бросить или в речку Пушки, и иди тогда свищи, кто его оторвал. Доказать, что я, невозможно. «Стой! Стой!» Лечу, а член за мной тянется,

обернуться боюсь. С другой стороны, если сердце пересаживают, почему хуй не пересадить? Хирургия у нас бесплатная и передовая. Вдруг он возле Дзержинского спотыкается, падает, тут я подбегаю на последнем издыхании, бросаюсь на него, а он подо мной трясется, ходуном ходит, как в эпилепсии. Верно: длинноволосый, мягкий такой весь, руки заламываю, переворачиваю... ебит твою мать! Дуська это! Моя Дуська! И я за ней! В хохот Дуську бросило, в истерику... И вот теперь я точно вспоминаю, братец, что, когда я в тот раз лежал на скамеечке и дрых на посту, сон мне приснился.

Сам себя я не вижу, не знаю, где нахожусь, но лежит передо мной кремнистый путь в колдоебинах, пыльный, в общем, большак, и топот я слышу конский, лязг, треск и скрежет. Все ближе он, все ближе, куда от него денешься? Задавит, сомнет, разбрызгает по сторонам, хотя нету меня вроде бы на фоне этого пространства. Летит, летит! Это, оказывается, тройка летит! Тройка! А коренная у нее сам Карл Маркс, правая пристяжная — Энгельс, левая же — Ленин! Бьют они копытами, искру высекают, у Маркса грива белая за плечами трепыхается, закусил удила, грудь — колесом, башку пригнул, прет вовсю, огонь и дым из ноздрей, глаза тарачит, пристяжные тоже стараются, сбрую рвут, а на облучке старой брички Сталин-кучер сидит в полной маршальской форме, трубка в зубах, и то по Марксу, то по

Энгельсу, то по Ленину — хлобысть вожжой, хлобысть, и мчится тройка, как взбесившаяся, и посторониваются от нее все народы и государства, и я — тень бесплотная в ночи кремешной! Мчится тройка, мчится! Быть беде! Но тут выбегает на путь кремнистый моя Дуська. «Тпррру!» — кричит, хватает Маркса за удила, осадила враз. Энгельс говорит: «Ни хера себе диалектика!» Ленин глаз косит татарский. Сталин с брички в кювет летит. «Тпррру!» Тут я проснулся и слышу: «От Ленина до ануса пострадавшего — восемь метров, от проезжей части — десять, от Маркса-Энгельса — сорок». Вот как было дело, а Дуська лежит подо мной и хохочет, как давно, давно в деревне, в поле, в отпуску когда были. Она хохочет, а я всерьез, слово даю, чувствую вдруг любовь и испытываю недовольство, что Дуська в брюках... Все было, Гриша, как тогда в деревне, в поле, в отпуску. Сладость все же любить жену, какая это сладость бывает вдруг, со «Старкою» только экспортной сравнивая! «Федя, — шепчет Дуська моя, — Федя... Ты ли это?.. На кого ты меня променял, Федя?.. Люби меня, Федя... Я умру за тебя!» И мне тоже так хорошо, как в первый раз! Фотографируй нас теперь ЦРУ, клади снимок утром на стол президенту и объяснения давай! «Квадрат 45. У памятника Дзержинскому Федька Милашкин любимую жену Дуську ебет, глаз голубой от удовольствия закрывает!» Вот как!

Но, дорогой ты мой брательник, покой нам только снится, как говорит Аркадий Райкин. Вдруг слышу: «Гражданин! Немедленно поднимитесь!» Ё-о моё! Встаю. Это господа дружинники. Трое. Начали права качать. Я официально им заявляю: «Мы подписали соглашение в Хельсинки? Подписали. Там пункт такой есть — «воссоединение семей». Вот какое дело. Я свои права знаю. Вон он летит над нами, секретный спутник «Сатурн». Проверяет, выполняем мы то, что подписали в Хельсинки, или темноту с чернотой разводим. Не мешайте воссоединяться мне с любимой женой Дуськой!» — «А зачем вам самодельный член из политбюрона?» — ехидно так спрашивает ихний старшой, пока Дуська, бледная от срамоты, брюки натягивала. «Мы этого в Хельсинки не подписывали!» — очень жестко и давить начиная прет на меня второй. Третий же вежливо приглашает: «В связи со случаями полового разбоя среди спящих алкоголиков пройдемте без эксцессов». Я снова начинаю права качать насчет Хельсинки, а они уперлись на одном: «Зачем вам член из политбюрона?» — «Вы мне ответьте, — говорю, — куда тресковое филе девалось и почему колхозники объявили холодную войну партии и народу — картошку по семь рэ ведро продают, живоглоты. Тогда я вам скажу, зачем мне член политбюроновый!» Дуська в ноги мне

бросается. «Федя, ты что, тоже сесть хочешь? Идем. Я все расскажу, нас отпустят, и ты спать ляжешь. Ты почернел, Федя, от пьянки. Пойдем!» — «Хорошо, — говорю, — пошли, но в протоколе необходимо желаю записать, что за все время ни разу не выразился «хуй», говорил исключительно лояльно «член». Так и записали в отделении. Тут и начался шурум-бурум. Прокуроры приехали. Чека, парторг наш и прочая шобла. Трое суток допрашивали то меня, то Дуську, на очные ставки раз пять водили, но я же не олень сохатый, я бывший член партии и по дороге в лягавку успел поднатаскать Дуську как следует. «Помни, — говорю, — одно: хуй ты купила на Тихом рынке в том ряду, где раньше картошку продавали. Продал тебе его негр, у которого деньги стырили из кармана, а расплатиться за творог было нечем. Просил он за него десять. Ты дала три двадцать. Вот и все. В остальном выкручивайся как знаешь. Дома же я тебя поколочу. Так не делают! Я хожу еле-еле до сих пор. Очко ведь не железное!» Между прочим, на меня, на мой позор и травму всей шобле было плевать. Они старались понять, кто вынес из совершенно секретной лаборатории кусок новейшего полимера политбюрона. Ведь его хранили в сейфах, ключи же от них были только у Главного Полимерщика. Если бы Пентагону удалось достать кусочек политбюрона размером с пробку от «Солнцедара», то мы, как я понял из допросов, растеряли бы

свое стратегическое преимущество к ебеной бабушке. Двое суток возили Дуську на приеме в посольства африканских государств и на лекции в университет Дружбы с Лумумбой для опознания негров. Она приблизительно узнала двух. Но один оказался военным аташе Берега Слоновой Кости, и у него было алиби: он в тот день фотографировал паровоз, на котором вечно живой Ленин приехал в Старопорохов, когда в Горках врезал дуба. Второй же стоял с утра до вечера в очереди за оливковым маслом, и масла ему не досталось. Все это видели. Не нашли, к большому моему удивлению, того самого негра. Взяли с Дуськи подписку, что как увидит его, так сразу позвонит на Лубянку. Дали три двухкопеечные монетки для автомата. Ну, парторг пытался установить связь между кражей политбюрона и нашим Сахаровым. А прокуроры начали подыскивать для Дуськи статью, поскольку Дуська в остальном раскололась. Все взяла, благородная баба, на себя. На самом же деле было так. Она и Тетерина баба, Элла, которая Игорька с двумя языками родила, подпили как-то и задумались: что с нами делать? Маскируемся круглые сутки, семьи разваливаем, заговариваться якобы начали и так далее. Ну и решили нас попугать поначалу для смеха. Ах, мол, раз вы нас не ебете, в канавах ночуете, то мы вам врежем, голубчики, шершавого! А вырезал его для продажи безмужним бабам из краденого политбюрона Тетерин. И я стал

первой ихней жертвой. Тетерин же, сука, и здесь всех перехитрил! Он тоже проснулся, как потом уж я узнал, в клетке с арбузами с голым изнасилованным анусом, брючки натянул — и домой как ни в чем не бывало. Болит очко, но Элле своей, разумеется, ничего не говорит, за походкой своей наблюдает, в милицию не жалуется и пить на день бросает. Бросает и предлагает жене: «Давай еще парня родим. Может, он с одним языком у нас получится?» Элла и рада. Передала тот хер политбюроновыи женам Долидзе и Доценки, тех тоже отхарили, остальные мои маскировщики перетрухнули не на шутку, стали дома ночевать, бабы, конечно, довольны, а вот что думают американцы, я не знаю. Город-то опустел. Ночью живой души не встретишь, все пидарасов боятся, только у такси глаза зеленые горят, как у волков голодных. Подбирали Дуське статью прокуроры, подбирали, но смотрят: ни одна не подходит. Не предусмотрено, оказывается, кодексом нашим советским, безнадежно оставшим от жизни, наказание за изнасилование любого лица мужского или женского пола искусственным половым членом.

9

В бригаде у меня адвокатов было несколько. Устроили мы за Манькиным ларьком юридическую консультацию. Обмозговываем пару дней положение. Вырабатываем план защиты,

химичим смягчающие обстоятельства и на случай суда выпрямляем линию Дуськиных показаний. Ведь ее таскать продолжают и говорят: «Все равно посадим. Не может преступление, о котором уже известно на Западе, остаться без наказания! Ты, Дуська, — говорят, — прецедент создала. Интуристы, испорченные сексуальной революцией, ночуют теперь из-за тебя около Ленина, Дзержинского и Маркса-Энгельса. Брюки сами снимают и ждут до утра, но не выпадает им кайфа. Сознавайся, кто тебе вынес из-под земли кусок политбюрона и какой такой неизвестный, удалив от него все лишнее, наподобие Фидию, изваял орудие преступления — член? Сознавайся, не то мы тебе скотоложство припаем!» Дуська моя, однако, заладила: «Если родная наша Коммунистическая партия и родное Советское правительство только на словах борются с алкоголизмом, а на самом деле увеличивают выпуск водки, сухарика и чернил, если с помощью вздувания цен на спиртное и замораживания зарплаты Косыгин хочет уменьшить инфляцию, если насрать ему, что сивушные двуязычные уроды на свет выходят и к двухтысячному году мы займем по косорылости первое место в мире, а по гунявости — третье, то нам, бабам, все это не безразлично! Вон маманя моя, — говорит Дуська, называя так нежно эту суку параличную, плывущую, как Хейердал, на судне в крематорий, — что рассказывает: «Бывало, дочка, за-

лазит на меня супруг, отец твой, Царство ему Небесное, залазит, а я уж сладко, сладко думаю, мечтаю, наяву бывало вижу ребеночка, которого... ой, как хорошо, которого... ой, как замечательно даже, Санечка... которого... любимый ты мой... умираю... умираю... вот сейчас... вот через секундочку... вот оно... вот... ребеночка вижу, которого заделывает мне супруг Саня, и ребеночек тот розовенький, пухленький, цыпленочек с ручками, с ножками, с глазками, с носиком, с пипкой исправненькой, с попкой родной, ты это, Дуська, красавица моя, и за что тебе наказание такое послано, почему не ебет тебя твой змей восьмого разряда, ведьму полюбил с глазами оловянными, кубанскую перцовую, московскую особую... Брось его, Дуська!»

И нам, товарищи прокуроры, хочется, как нормальным бабам, и спать просто так с супругами от шалости и для удовольствия, и к тому же ребеночков рожать, чтоб не стыдно было за ихний ум и внешность перед другими странами и народами. Пускай знает Косыгин: мы сами теперь за себя постоим, пусть земля горит под ногами у мужей-алкоголиков! Не будет им теперь покоя! Не политбюроновый хер, так пробковый! Не пробковый, так гудроновый! Найдем что влупить и перцем присыпем, пусть жжет с неделю, хотя перца тоже в бакалее не стало! Вы их свели с ума, наштропалили на маскировку, а мы их сызнова на ноги поставим и газет читать не дадим про

ваши бомбы, ракеты, войны, кровавых империалистов и обстановочку небывалого всенародного подъема на субботнике. И я лично на него больше не выйду! Ищите дураков! Денежки с субботника, миллиарды за труд наш бесплатный, всаживать надо не на постройку раковых корпусов и стадионов, а на больницы для алкашей наших проклятых и несчастных. Плевать нам, ихним женам, на стадионы! У Доценок дочка еле ходит, у нее по восемь пальцев на ногах, куда уж ей рекорды ставить на Олимпиаде-80! А у Долидзе у Гиви-младшего позвонок кривой. Кидай его на лед в фигурное катание двойной тулуп делать! Так и передайте Косыгину!» — говорит Дуська.

10

Задумались прокуроры. Делать нечего: докладывают Косыгину. Косыгин политбюро собирает сразу после «Голубого огонька», на котором Зыкина пела. А мы в тот день за Зинкиным ларьком сидели. Щепы набрали, коры березовой и листьев кленовых. Костер разожгли. «Ташкент!» — говорит Тетерин, а сам дрожит, как землетрясение. Согрели бутылку портвейна на огне чуть не до кипения, глотаем по очереди из горла горячую заразу, оживаем, сплотившись еще тесней вокруг костра. Тетерин вдруг дрожать перестает, хлопает нас по плечам, взгляд затвердел у него, и говорит: «Я вчера на политбюро был вызван. Доклад

делал о цели существования химчисток, так называемых «американок», в нашей стране. Но передо мной о Дуське разговор зашел. Судить ее или не судить? Брежнев говорит: «С точки зрения успехов дальнейшей маскировки, это у нас объективно, дорогие товарищи!» Говорил он, кстати, без бумажки. Тетерин сам видел, не врет никогда в таких случаях: А Суслов, чахоточный такой, не стоит у него с тридцать седьмого года, не соглашается... «Проморгали мы, не досмотрели погранвойска и таможенная служба, как половая революция перешагнула наши границы. Вот они, плоды разрядки — мать ее так. Расхлебывайте это дело сами! Предлагаю усилить идеологическую работу среди населения с помощью партпенсионеров. Все равно они зря чешут языками на бульварах!» Тут Андропов слово взял: «Так и так. Давайте попробуем сухой закон устроить, а из зарплаты алкоголиков удерживать от 3 р. 62 коп. до 4 р. 12 коп. в месяц на строительство антиалкогольных профилакториев с принудительной утренней зарядкой. Дуську же надо отправить в психушку. Она взяла на себя функции наших органов!» Косыгин вдруг как ебнет кулаком по зеленому сукну и попер на них с мешками под глазами: «Вы что? Сухой закон немедленно вызовет прекращение строительства БАМа и других молодежных строек! Твоими лозунгами, Суслов, народ не взбодришь! Людям в провинции жрать нечего, так пусть хоть пьют.

Потом в коммунизме окупятся с лихвой, с большими процентами наши страдания и лишения. Госбанк торжественно дает нам на это свои гарантии». Кириленко, маленький такой, тоже мешки под глазами, глазки от черной икры заплыли, докладывает: «Наш резидент “Соколок”, натурализовавшийся на острове Лесбос, доносит, что идентификация женщин с мужчинами, начавшаяся здесь до нашей эры, продолжается. Спрашивает шифровкой, как быть с Дуськой?» — «Беда! — говорит Подгорный. — Народ пить резко бросил после всех этих изнасилований мужчин. Стрезва иначе мыслить начинает. В религию уходит. А самое страшное для нас сегодня, товарищи коммунисты, в том, что начинает народ искать ответы на Вечные Вопросы не в беспробудном пьянстве, а в наблюдении за интимной жизнью своих руководителей. У народа возникает незаконная социальная зависть к системе снабжения нас любительской колбасой со знаком качества. А дальше что будет?» В общем, братец ты мой генерал, все политбюро сошлось на том, что надо устроить еще один всенародный внеочередной субботник, а магазины «Березка», где по сертификатам без маскировки продукты продают высшего качества, закрыть немедленно, чтобы они, сволочи, не мозолили народу глаза и не уничтожали его веры в наше бесклассовое общество и в то, что все от мала до велика, от Брежнева до ханыги Тетерина, просты и скромны, как Ле-

нин. «А теперь, — говорит Брежнев, — давайте посмотрим запись биотоков ленинского мозга, которую удалось записать нашим славным микрофизикам с помощью самого большого в мире радиотелескопа». Тетерин сам видел, как на экране зеленые змейки забегали и запятые заплясали.

«Полвека, как дуба врезал человек, а мозга все еще у него кумекает, не то что у нас, — говорит Брежнев. — Кумекает и подбивает, как говорится, резюме всей нашей партийной работе: правильной дорогой идете, дорогие товарищи! Будьте и впредь беспринципны в своей борьбе с империализмом и сионизмом!

Давайте теперь проголосуем, обменивать нам баш на баш Корвалана, поскольку Пиночет, блядь такая, почуял нашу слабину в Хельсинки. Тактику новую и коварную избрали враги прогресса и мира. Раньше они пулю в лоб шмаляли коммунистам, мучили наших братьев по разуму в застенках до смерти, растворяли в различных кислотах и так далее, и не было у КПСС с ними возни. Зачисли в мученики, и с рук долой. Ныне коленкор иной. Мы, мол, вам Корвалана, а вы, дескать, нам Буковского. Я лично торговаться разучился, так как давно не покупал на Тихом рынке телятину, гвоздики и картошку. Предлагаю отдать Буковского. Но смотреть при обмене, чтобы вместо Корвалана другого какого-нибудь обормота нам не подсунули. Самого же

строго предупредить, чтобы не вздумал трепаться насчет нарушения в СССР прав человека, не то этапируем обратно в Чили, и там трепись сколько хочешь. Кто против?» — «Я!» — шепотом, потому что чахоточный, говорит Суслов. «И я!» — вякает Косыгин. «Сталин так бы не поступил! — поясняет Суслов. — Он Троцкого достал, а Корвалана ликвидировать гораздо проще. Политический же эффект после его вынужденной ликвидации был бы просто шикарным. Плюс отсутствие прецедента. Прецеденты сводят на нет нашу работу. А вдруг реакция начнет арестовывать генсеков во всех странах и провоцировать нас менять их на диссидентов и сионистов? Что тогда? Хрущев уничтожил 13 политических заключенных. Мы с таким нечеловеческим трудом снова наладили это дело, по крохам собирали, можно сказать, и вот — пожалуйста! Корвалан сидит там в отличных условиях, не пытаются его, свиданки дают, интервью разрешили раз в неделю, пусть себе сидит и объективно служит делу мира и социального прогресса. Логика подсказывает, товарищи, что тюрьма — это время. А любое время работает на нас! Я — против!» — «Я лично, — говорит тогда Косыгин, — предлагаю поступить по-ленински, согласиться на далеко идущий компромисс. Давайте обменяем Корвалана на Дуську. У нас невиданными темпами растут ряды женщин-пидарасов, разворовываются для этой цели ценнейшие полимеры по-

литбюрон, партбюрон и надсадки для членов из таких сверхтвердых сплавов, как совмий, подгорний и кэгелийбэ. Более того, в провинциях пошли в ход сезонные овощи: морковь, огурцы, початки кукурузы, редис Слава Терешковой, хрен Комсомолец-долглетний, кочерыжки и так далее. Исчезла с прилавков магазинов черноземной и других полос колбаса всех сортов. Народ вправе спросить нас, коммунистов: “Где наша колбаса?” Что мы ответим? Повышение цен на отсутствующие в продаже продукты и промышленные товары оказалось правильным политическим шагом, но не принесло желаемого экономического эффекта. Увеличение платы за пробег такси — не панацея от всех бед, хотя курсирование населения из областей и районов в города и столицы в поисках дефицитных продуктов и товаров заметно уменьшилось, а экономия бензина увеличилась. Соответственно наблюдается резкий скачок его экспорта в страны НАТО. Обмен Корвалана на Дуську улучшит наши балансы и частично ликвидирует некоторые трудности снабжения населения овощами и бананами. Затрону теперь главный аспект всей проблемы. Бесславный почин Дуськи привел к катастрофическому затовариванию складов, магазинов и ресторанов нереализованными винно-водочными изделиями. Возникают пробки на крупных железнодорожных узлах. Растет инфляция, тромбированы многие внутренне-банковские

финансовые операции. Крепнет реальная угроза спонтанного образования второй оппозиционной партии в нашей стране на политической платформе, не брезгующей никакой социальной демагогией. Идея глобальной маскировки наружного пространства СССР находится под угрозой! В такой ситуации лозунг “Вперед к Коммунизму!” выглядит смехотворно даже для дураков из братских компартий. Предлагаю поручить министру внешней торговли произвести обмен вышеназванных лиц в одной из нейтральных стран. Дело зашло слишком далеко. Зыкина моя вчера заявляет: “Если бы ты, Алеха, пил, я бы теперь знала, как поступить!”»

11

Разобрали мы ящички из-под апельсинов арабских, подкинули дощечек в костер, вторую бутылку подогрели, хорошо пошла, а Тетерин шпарит наизусть ихние речуги на политбюро. Шпарит, я же думаю, пронесет или не пронесет? Чем дело кончится? До чего мы дошли, Дуська, с тобою? И виноват я перед заключенным своим сыном Славкой. Если б не я, моя многомиллионная бригадушка, да всякие надомники — поэты, композиторы, художники и артисты, не сочинил бы Славка книгу «Развитие алкоголизма в России», не тискал бы ее на ебаном Западе, не сидел бы нынче под землей на Лубянке, а пил бы порт-

вешок в подъезде и там же с девок брюки сдирал.

«Дуську менять мы не будем, — говорит Андропов. — Она без сына и мужа никуда не слиняет. А мой агент, работающий в кровавом чилийском гестапо, докладывает, что естественная смерть Корвалана не за горами. Стоит ли рисковать в таком щекотливом деле?» — «Стоит! — отвечает Брежнев. — Латиноамериканцы живучи. По словам моих референтов, Арисменди месяцами не ел, не спал, свертываемость его крови после пыток была равна нулю. Но он выжил. Потому что формула крови коммунистов продолжает оставаться загадкой номер один для врагов и международных картелей. Поменяем этого бандита Буковского на Корвалана. Хер с ним. Долго он после андроповской баланды и режима не протянет!» Бурная овация. Все встали, потом сели и дают слово Тетерину. Наливает себе Тетерин из графина хрустального с золотой крышкой крымской мадеры, хлобысть стакан и тоже толкает речугу. «Я, — говорит, — как внештатный контрразведчик открыл такую штуку: сущность химчисток “американок”. Однажды после смены желаю я опохмелиться. Но постепенно становится очевидным, что тряпок моих дома нет. Ни брюк, ни пиджака, ни байковой рубашки не нахожу нигде. Я бы Эллинские, бабы своей, тряпки напялил, неоднократно так поступал, но и их стерва из дому вынесла. Читаю записку, на ручке в сор-

тире надетую: “Сволочь! Пьянь! Вещи в химчистке. Сиди дома и будь проклят!” Ах, так? Хорошо. Решаю сдернуть, как давеча, шторы, завернуться и таким манером проследовать в “Чайку”, вырвать у ней из клюва свои тряпки. Шторы сняты. Хорошо, думаю, сука, я тебе сейчас устрою Сталинградскую битву под Москвой! Однако удар Элка нанесла мне почти смертельный: не нахожу ни простынки, ни наволочки, ни скатерки! Окружен! Окружен! А в окнах уже хари вражеские лыбятся. Рога у них и червяки в ушах. Я по-пластунски бросаюсь в сортир, а там Киссинджер сидит, очки протирает, я в него громкоговорителем — бамс, воду спускаю, нету Киссинджера, только от унитаза кусок откололся. Пот с меня льет красный, зеленый, серый, и в каждой капельке по песчинке. Прыгаю в ванну... а-а-а!.. в ванной Киссинджер голый лежит, холодный, скользкий... а-а-а-а!.. Вываливаю на него всю посуду из буфета, а он из телевизора на меня зырит и говорит: “Не бойся, Тетерин, я — Валентин Зорин!” А-а-а-а!.. Тут мне политбюро бурную овацию устроило... Бросаю телевизор с балкона прямо на “Жигули”, развели машин, ворье, колхозники, спекулянты! Вроде легче стало, но на обоях вдруг уши проросли и запах из ушей... задыхаюсь... воница глотку перехватила, и с полки кухонной макаронины на меня двинулись с вермишелинами наперевес. С люстры многоножки сыпятся, в ванной Киссинджер гломзает вилка-

ми и ножами по кафелю. Что делать? Пол-одиннадцатого!.. А-а-а-а!.. Голым не пойду. Ходил один раз. Забрали. Незаконно забрали, ибо я шел и кричал: “Отвернитесь! Отвернитесь! Отвернитесь, граждане!” Ага! В последней шкаф стоял фанерный с зеркалом. Вырезаю в боках дырки для рук, сзади — для глаз, дно вышибаю, кладу рубль с лысым из заначки на верхнюю полку, залажу туда и лифт вызываю. Муде прикрыто, и ладно. Нормально. Двигаюсь по улице потихоньку. Игорек за мной бежит, “Пусть всегда будет папа” — поет. Нетяжело. Только в яйцо левое заноза попала. Зеркало зайчиками чертей распугивает. Так и заявляюсь в гастроном. Успел, слава тебе, КПСС! Поправился — и в химчистку. “А ну, давайте, говорю, падлюки, тряпки мои. Я — Тетерин. Квитанцию потерял!” Выдают, как ни странно. Шкаф я им оставил для грязных газет вместо урны. И что же я открываю? Не дураки они! Не дураки американцы! И опять нам заячьи уши приделали! Мы такие средства выделяем для борьбы со шпионами, маскируемся круглые сутки, а они всю работу свели на нет срочной химчисткой. Ведь стоит только тряпкам нашим туда попасть, как в них автоматически вживаются датчики и передатчики. Остальное же — дело техники. Спутники летят, ловят их сигналы, и ЦРУ в курсе не то что всех наших планов, но и подробностей личной жизни. Вам-то, говорю членам политбюро, хорошо. Ваши тряпки бабы в “амери-

канку” не носят, а я поддал. Иду. “Милашкин, — бугор наш орет. — Летят! Летят! Один над Анькиным ларьком, другой над Манькиным!” И слышу: жужжит в ширинке и под мышками. Жужжит, и, как со спутника, сигналы из меня выходят: пи-пи... пи-пи... пи-пи... Чего же думать? Закрывать надо химчистки к ебеной бабушке! Или же вставлять в наши тряпки помехи. Они нас жужжанием, мы же их треском и скрежетом заглушим, как “Свободу”». Косыгин говорит: «Ладно, Тетерин. Мы что-нибудь придумаем. Один ум — хорошо, а двенадцать — лучше!..»

Политбюро, вроде винных отделов, до семи работает. Я говорю: «Пойду, а то не успею». Стали мы все, как во Внукове на проводах Брежнева куда-нибудь, лобызаться по три раза. Но с Сусловым никто не лобызался. Чухотка у него. И врачи запретили. Подгорный говорит: «Не серчай, Суслов. Зато у тебя два тома сочинений на днях выйдут, и мы их населению вместо “Баскервильской собаки” по талонам давать будем».

Вот человек Сулов! Дуба на ходу врезает, ему бы в Крыму на пляже валяться и портвешок дармовой жрать стаканами, а он в ЦК на трамвае каждый день кандехает! Скромный мужчина, вроде Ленина.

Тут, братец, Тетерин вдруг захрипел и в костер повалился, удержать не успели. Обварился немного. Мы его обоссали по древнему способу, чтоб волдырей на лице не было, а он

плачет, Игорька зовет. «Прости, — говорит, — Игорек, прости ты меня за то, что пропил я свою восьмую хромосому и язык ты лишний имеешь! Но я тебе сестреночку рожу, красочку, принцессу детсадика, а тебя отдам в двуязычную, в англо-французскую школу! Прости! Завяжу я, завяжу, завяжу!»

Обо многом, братец, мы тогда поболтали. Подходит участковый. Рыло мятое: он ночью намордник на него надевает, наверное, чтобы бабу свою не кусать: «Вы понимаете, где вы костер разожгли? Вы понимаете, что в пред-олимпийские годы нас всех уничтожат? Вы отдаете себе отчет? Вы почему играете с огнем, когда “Россия” горит?» — «Как горит?» — «Так! Сверху взялась!» — «А-а-а-а! — заорал Тетерин, за голову схватился. — Горю-ю-ю?» И в речку Пушки — бух! Труп его только через месяц нашли в Суэцком канале. «Вы понимаете, где вы огонь разожгли?» Тут я головешки раскидал, уголье растоптали, повалился и плачу, как маленький, что пронесло беду. Слава богу! Под костром-то нашим дежурная стратегическая ракета, оказывается, находилась. Еще бы немножко, пару дощечек подкинули бы — и прощай, Вторая мировая война, здравствуй, Третья! Нас бы раскидало, ракета легла бы на курс, оттуда последовал бы ответ и... все... все! Осталась бы на поверхности Земли только пустая посуда, сдавать же ее было бы некуда и, главное, некому. От этой ужасной картины, мелькнувшей, братец, в

здравой моей голове — почаще бы такие картины мелькали в ваших генеральских и маршальских калганах, — заплакал я еще пооткровенней и громче. «Да! Уничтожим вас, ханыг позорных, к Олимпиаде-80! В народе нашем одни спортсмены останутся, выжжем язву алкоголизма олимпийским огнем, проститутки!» — шумит участковый.

12

Откровенно говоря, братец, стебанулся слегка наш участковый на этой Олимпиаде-80. Стебанулся форменным образом. Начал с балконов. Приказал не вешать на них белье, потому что вывешенное белье секретные американские спутники могут принять за белые флаги сдачи нами идеологических позиций, и тогда в одно чудесное утро мы услышим на нашей Большой Атомной улице скрежет гусениц вражеских танков. «Так что, — говорит, — если кто вывесит простынку и хоть бы даже белые кальсоны, буду рассматривать сей факт как сдачу в плен и стреляю, ети ваши бабушку в тульский самовар, без суда и следствия прямо в лоб. Мне давеча ящик патронов начальство для этого выдало... Ра-а-зойдись!»

Любил наш участковый это словечко. Он его ночью во сне и то орал. А все почему? Потому что, братец, пил он не с народом, а в одиночку. Чурался, сволочь, масс, индивидуалистом маскировался, трезвым. Но мы-то знаем,

что на дежурство он без четвертинки спирта не выходил. И где, ты думаешь, он носил этот спирт, которым ему взятку в ядерном институте давали. В кобуру он его наливал! Да, да! В кобуру. Иной раз зайдет с тоскливой и яростной рожей за угол, снимет кобуру с портупей, башку запрокинет и присосется, ни капельки наземь не прольет. Вот и допился до институтского спирта, которым ко дню рождения Ленина бомбы протирают. Сначала лаять во сне начал наш участковый. Тетерин ведь за стеной у него жил, все слышал. Лает и лает. Иногда с подвизгом, иногда, особенно в полнолуние, с тошнотворным подвоем. Спать невозможно было от евонного лая и воя, а указать на это не давал он нам никакого права.

«Я лаю по особому оперзаданию, и не окрысивайтесь, подлецы! И вой у меня государственное значение имеет. Без него давно бы уже стали рабами капитала и нью-йоркской мафии!»

Так он нам говаривал... Ты не перебивай, я все равно не двинусь дальше, пока не доскажу душераздирающую истину про нашего безумного участкового... Не командуй! Я тебе не Варшавский пакт! Я сейчас как гаркну «смирна-а!», так ты у меня лапки по швам вытянешь и простиошь до второго пришествия, когда тебе скажут: «Вольна-а!» Понял?

Баба же нашего участкового вконец измучилась от лая и воя своего муженька. Ну, и не выдержала, естественно. Не выдержала и ста-

ла затыкать ему на ночь глотку. То носком грязным, то портянкой, то трусами, и дрых себе участковый без задних ног до утра. И ни о чем не догадывался. Отдохнуть дал Тетерину-соседу и бабе своей с детишками. Все было бы хорошо. Только стал он недоумевать, отчего это у него по утрам то нестиранный носок, то вонючая портянка, то запревшие трусики оказываются мокрыми и изжеванными порой невероятно. Ничего понять не умеет. Баба же его обычно ставила будильник для себя лично, вытаскивала утречком из участковой пасти затычку и сушила ее на батарее. Все было хорошо. Но как-то испортился у них будильник, хотя клеймо на нем стояло знака качества, и продирает однажды наш участковый пьяные свои zenки и обнаруживает свою глотку заткнутой. Ни охнуть, ни вякнуть, ни слова прохрипеть не может. Чуть не задохнулся от обиды, вырывает кляп и давай кусать свою бабу. До крови искусал, пока она, голая, на улицу не выскочила. Спасли мы ее.

А она с тех пор не давала себя участковому, пока он на ночь не напяливал на свою ханыжную харю бульдожьего намордника. Любил он жену. Поэтому и надевал. Любовь к бабе, братец, и не на такие подвиги подталкивает, а еще на более сногшибательные. А выть перестал. Разве и залает после Седьмого ноября, но я лично считаю, что это в порядке вещей после праздничной похмельюги. Но дело не в этом. Нас-то, гаденыш, привык

утрировать по-зверски. Житья не давал, асмондеище. Ты интересуешься, почему я говорю утрировать, а не третировать. Потому что утрировать означает третировать утром, когда мы собираемся в яблоневоm саду за Зинкиным ларьком. На ночь некоторые из нас зарывали, бывало, под старыми яблоньками остатки портвешка, чернил, бормотухи или пивка. Зароешь, а потом поутрянке откопаешь, опохмелишься — и под землю сортировать атомы урана. Конечно, если со стороны на нас поглядеть, то странная, должно быть, картина открывалась в ЦРУ на проявленных снимках. Ползают между яблоньками маскировщики на карачках: рыщут зарытую заначку, ибо один из них забыл, мерзавец, где он ее заныкал. Перерыли мы однажды весь сад, ножами и палками землю истыкали — нигде не можем найти четвертинку и бутылку пива. Нигде. А сердца-то наши тем временем останавливаются, не хотят тикать без расширения сосудов. В головах же буквальный конец света, страшный суд и изнурительный ад. Тоска, повторяю, и мрак. Большое горе. Наконец, когда казалось, не выйдем мы все из яблоневого сада, умрем на посту и окончательно не воскреснем, натыкаюсь я случайно на белую головку под вялым осенним лопушком. Зубами стащил, губу порезав, оловянную пробку, зубами же «Жигулевское» открыл, откуда только силы взялись, ибо руки у всех тряслись, как у балалаечников из оркестра народных инструментов имени

Курчатова, и отпили мы, сердешные, бедные, из стылой бутылочки, из «маленькой», по одному спасительному глотку... Ух! Слава Тебе, Господи! Прости и помилуй, спасены! Спасены на этот раз, а что дальше будет, неизвестно. Как завтра повернется судьба, не ведаем...

Быстро, для увеличения КПД водки и пива, разводим костер. Смешиваем в бутылке из-под шампанского с колотым горлом то и другое, и вот уже, товарищ ты мой генерал-лейтенант, после спасения сам батюшка-кайф коснулся наших внутренностей отеческой своей рукой. Кайф! Враз тела от него молодеют, мысли появляются в смурной, тупой и болезненной пару еще минут назад башке, весь мир, включая проклятый наш Старопорохов, выстраиваться начинает на глазах, и хочется душе чегой-то такого... трудно даже сказать чего... высокого, настоящего, делового, полезного государству и людям, бескорыстного такого, решительного, партийного, а главное, чистого... выпить еще, одним словом, хочется, а потом уже по эскалатору вниз, на второстепенную работенку — писать красной краской на ракетах зловещий лозунг «Смерть капитализму».

И вот, только мы в порядок привели себя после вечерней маскировки, смотрим: человек бежит к яблоневому саду от нашего дома. Босиком человек, хоть инеем за ночь прихватило осеннюю травку, в кальсонах голубых и сиреневой майке. Участковый. Кое-кто думал

рвануть когти подальше от штрафа, но я командую:

— Цыц! Участковый в кальсонах на маскировку работает. Беды не будет. Оставаться на местах! Четвертинку притырить!

Подбегает, зверюга, запыхавшись. Рыло фиолетовое, вот-вот задохнется. Знаю я такие лица. Они от смертельного сужения сосудов бывают. Многолетнего, разумеется. Тут ты, братец, прав.

— Братцы! — хрипит умоляюще. — Братцы! Спасите! Дома — ни грамма!.. Помираю! Ей-богу, помираю! Хоть пива дайте глоток, хоть одеколону... Спасите! Руки-ноги отнимаются! Можно и лосьончика!

На лбу участкового испарина. Дышит неровно. Подергивается весь. Глазенки бегают. Знакомая картина. Жалко человека бывает в таком состоянии. Беспомощен он и болен, и вся его случайная жизнь зависит в такие минуты от наперстка вшивого водки или от полстакана любой советской бормотухи.

— Век не забуду, братцы! Налейте! Дышать трудно! Грудь спирает! Виски горят!

— Нету, — говорю жестокою ложь. — Сами девятый хуй без соли доедаем! Запасать надо. Ты из магазинов, стерва, сумками волокешь, а у нас, маскировщиков, стреляешь. Где нажрался-то, борец с алкоголизмом?

— Праздник был, — отвечает, — у меня. Пистолет я потерял в понедельник. Все, уж думал — конец. В петлю лезть собирался.

Пенсия моя накрывалась, а быть может, и свобода. Нашелся он, братцы, нашелся. Я его на складе, когда заведующую улюлюкал, выронил. Нашелся. Ну и загулял. Спасите!

— Как же ты его выронил? Вниз головой, что ли, стоял? — спрашивает Тетерин. Он любил как инженер-изобретатель до сути вещей докапываться.

— Не помню. Сонька такое иногда выделяет, что башка, как после карусели, кружится... Дайте глоток! Помираю... Костер горит. Значит, грели портвешок.

Нет, думаю, не получишь ты, паскуда, глотка. Не получишь! Не ты ли костры наши раскидывал, не ты ли штрафы присылал за распитие спиртного в неположенных местах? А? А кто отлавливал нас, как бешеных собак, и волок в вытрезвиловку? Ты — гадина! А главное, ты вредитель и, возможно, шпион, срывающий маскировочную задачу нашей партии. Ты себя над нею поставил!

— Да, — говорю вслух, — ты поставил себя над партией и неспроста по ночам лаешь и воешь. Нету у нас для тебя ни глотка. Иди продай пистолет и на вырученные деньги опохмелись.

Синеть начал тут наш участковый, а кончики пальцев белеют и не шевелятся. Перетрухнул я тут, но и водяру на змея переводить жалко.

— Подожди, — говорю Тетерину. — Не отливай в кусты. Давай лей сюда в стакан.

Я это, конечно, тихо сказал, чтобы участковый не слышал. А может, у него тогда с похмелья уши были предсмертной глухотой заложены. Расстегнул Тетерин штаны и налил мне целый стакан до краев первой после ночи мочи. У него так от пьяни сужались сосуды, что он, извини, братец, отлить иногда не мог без опохмелки.

— Пей, — говорю участковому, — пока горячая. Градусов в ней двенадцать есть точно.

Верись, генерал, залпом околотошный наш стаканчик вымахал, ни капли не расплескал, только ахнул, лопушок сорвал и занюхал, да слезу прощания с жизнью со щеки смахнул.

— Ох, хорошо! Век не забуду! Оживаю, братцы.

— Вкусно? — спрашиваю.

— Солоновато и клопами попахивает. Но поправился.

— Это вчера пиво с коньяком Тетерин перемешал. Еще хочешь?

— Не мешало бы. Я деньги могу принести. На халяву пить не собираюсь.

— Неси. Нам к одиннадцати пригодятся. Принес, одетый уже в форму, однако, пять рублей. А Тетерин за все его гадости и подлости ему между тем еще стакашок отлил. Вернулся же участковый совсем пьяненький и веселый. Поет: «Люблю, друзья, я Ленинские горы. Там хорошо рассвет встречать вдвоем...» Закусона принес: колбасы, лука, помидор, пирожков каких-то и холодную кость из

супа всю в мясе и аппетитных хрящах. Одним махом второй стакашок врезал тетеринской мочи и за любимую свою тему взялся: за Олимпийские игры и алкоголизм с хулиганством.

Вот зря, генерал ты мой военный, не веришь, что мочой опохмелиться можно. Это не означает, что нужно. Я лично один раз спас так жизнь одному своему маскировщику Кожинову. Кончался человек прямо у нас на глазах. Чуем, не дотянет до одиннадцати часов, не дотянет. Минут сорок до открытия рыгаловки-автомата оставалось. А он улегся прямо на Ленинском проспекте и кончается. Язык синий вывалил, глаза скосил, посерел, еле дышит. Тетерин и зарассуждал теоретически, как всегда, что не может в нас не быть остаточного алкоголя в крови и в моче, если мы с утра под тяжелой балдой ходим. Должен иметься алкоголь. И хотя он разбавлен в нас различными безалкогольными напитками, типа воды, все равно можно его использовать в крайних случаях. И сейчас как раз выпал такой случай. Спасти надо Кожинова. Вон он хрипеть уже начал. Стаканы, между прочим, всегда у нас с собой имеются. Поднесли Кожинову полный. Пену, как и положено, сдули. Жажнул он его, дергаться перестал и минут через пять зачирикал: ожил совсем. А что пил, так и не разобрался.

Но вернемся к участковому. Разобрало его, и понес он всякую бодягу про подготовку к

Олимпийским играм. Мы, говорит, указ секретный получили вырвать с корнем из Старопорохова к восьмидесятому году язву алкоголизма, хулиганства, блядства, фарцовки, валютки и прочее. Гости, говорит, иностранные, а их полмиллиона собирается нахлынуть, чтобы поглумиться над нашими порядками, должны увидеть на каждом шагу безусловное стремление к коммунизму и идеологической добросовестности. В дни Олимпийских игр всем не выселенным из города гражданам будет предложено, вернее приказано, прилично одеваться, лучше питаться, читать с особым выражением на лице книги товарища Брежнева в метро, трамваях, в автобусах и троллейбусах, а также на ходу. Можно при этом пускать слезу. Хохотать запрещено, потому что ничего смешного в великой трилогии писателя Брежнева нет. Запрещено также образовывать очереди у продовольственных и промтоварных магазинов. Очередь больше пятнадцати рыл одновременно будет рассматриваться как злоумышленная группа лиц и подвергаться рассеянию и штрафу. Граждане, тайком пробирающиеся во время Олимпийских игр в город с периферии для снабжения своих семей мясом, маслом и рыбой, должны быть немедленно сняты с транспортных средств и этапированы к месту жительства. Прописка в городе Москве и его радиусах со вчерашнего дня разрешается только новорожденным гражданам от родителей, имеющих постоян-

ную прописку в городе Москве и его радиусах. Остальные, включая командировочных, временно обязаны считать себя персонами нон-грата. А вы, говорит участковый, пьяницы, и есть таковые персоны. Для борьбы с вами, говорит, уже обучаются тысячи юношей и девушек, и все они в дни Олимпийских игр выйдут на улицы нашего великого города, чтобы следить за контактами гнилых интеллигентов и прочих тухлых граждан со спортсменами, чтобы пресекать наши попытки сдавать пустую посуду многочисленным интуристам из многих стран мира, чтобы помогать большим друзьям Советского Союза, типа Анджелы Дэвис, не обращать внимания на теневые моменты действительности, чтобы мгновенно собирать разбрасываемые агентами НТС листовки, брошюры, Библии, произведения Ахматовой, Булгакова, Сахарова, Григоренко и прочих антисоветчиков. Основное внимание будет уделено недопущению на территорию СССР ни строки матерого врага, купившего в Америке старинную крепость с охраной и мечущего оттуда злобные выпады в адрес своей сверхдержавной родины... Вот так, говорит, дело у нас поставлено, чтобы засекать все контакты советских, вернее антисоветских, граждан с интуристами. Не секрет, что большая их часть уже не дремлет и будет заброшена сюда по путевкам ЦРУ. А уж потом по снимкам все эти вражеские рожи получают по заслугам и встанут на учет куда следует. В об-

щем, говорит участковый, советую вам уйти, пока не поздно, в глухую завязку и развязать сразу же после Олимпийских игр. И не бухтеть на каждом шагу, что цены на рынках не по карману рабочему классу, что продуктов все меньше и меньше, даже в Старопорохове, и прочую антисоветчину и клевету. Есть у нас в стране продукты! Есть! Но мы их копим к Олимпийским играм и посему не выбрасываем на прилавки провинции и даже столиц союзных республик. Вы же, говорит, антилопы, не представляете, сколько жрут спортсмены и интуристы во время Олимпийских игр! Много жрут. Если, например, для завоевания бронзовой медали в прыжке в длину спортсмену требуется за неделю съесть два кило мяса, то для получения золотой медали в тройном прыжке необходимо хорошо усвоить соответственно шесть килограммов мяса. А если подсчитать, сколько на Олимпиаде будет представлено видов спорта и сколько будет разыграно комплектов медалей между представителями соцлага и каплага, то выйдет стадо в десятки тысяч голов скота. О курицах, гусях, утках и прочих деликатесах лучше не говорить. Так ведь если сейчас вот, сегодня, весь советский народ накинется на всю эту живность, ежедневно прибавляющую в весе, то что же останется к началу Олимпийских игр? Консервы «Завтрак туриста» останутся с перловкой в ржавом томате и больше ничего. Но они же на нашего туриста рассчитаны, эти

немыслимые завтраки, а как быть с интуристом? Чем его кормить? Он ведь задание получит от ЦРУ жрать, жрать и еще раз жрать, чтобы создать продовольственный дефицит в столовках и ресторанах. Он — интурист — позора нашего жаждет. Но мы ему скажем: жри, дорогой, жри хоть до заворота кишок. Мало тебе одного эскалопа или же цыпленка табака — еще получай. Лети в пике, как говорится, за добавкой. Лопай! Мы, может, лет пять на жратве сэкономили, многие города забыли уже запах колбасы и вкус сливочного масла, но тебя-то мы накормим от пуза! Ха-вай! Нас ты за две недели не обхаваешь, даже если после первого, второго и компота из сухофруктов пойдешь поставишь клизму себе шпионскую и снова за стол усядешься. Вот что наша партия скажет господам интуристам! Просчитались, скажет она, господа! Аппетит ваш обречен на провал! Поэтому, внушает участковый, не бухтите по подъездам и когда портвейн жрете, что хуже, чем сейчас, не было положения с продуктами в нашей стране. Не забывайте о полчищах интуристов, готовящихся к налету на наши столовки, кафе и другие точки нарпита.

Тут Тетерин вмешивается и отвечает, что он сию минуту изобрел новые консервы «Завтрак интуриста» и посвящает свое изобретение Олимпийским играм. В банки надо набить черной и красной икры, а сверху положить пластмассовый плакатик «Ешь ананасы,

рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!»». Таким образом наша партия убьет сразу двух зайцев: накормит интуристов завтраком и настроение им на целый день испортит.

— Спившаяся ты персона, Тетерин, — говорит участковый, а я ему бесстрашно заявляю:

— Что же ты, околотошный, опохмелился и обнаглел? Ты сам и есть настоящая персона, потому что мысли твои идут вразрез с генеральной линией маскировки. Ты, — говорю, — понимаешь, дубина, основную идею Олимпийских игр? Не спортивную идею, а секретную, политическую?

— Ну?

— Налей ему еще, Тетерин, если тебе захотелось, — говорю, — но только в кусты не иди, чтобы баба из окна не увидела.

Участковый от второго тетеринского стакашка мочи совсем захмелел. Поэтому и растрекался так. А после того как еще полстакана, ничего не подозревая, врезал, совсем распетушился и как забазлает на меня:

— Я тебе покажу, псих, секретную задачу! Я тебя быстро под уколы сдам! Повалешься в Белых Столбах, поломают тебе ребра санитары, пожухешь рукав серенького халата, язык себе откусишь за такие свои слова! Понял?

— Я-то, — говорю, — понял все, чего достиг, а ты, болван, по ночам воешь и лаешь, в наморднике спишь, чтобы бабу не кусать, и

пистолеты казенные роняешь при совокуплении с завскладом прямо на мешках и на ящиках, потому что ты оружие за пазухой держишь, в кобуре же носишь спирт! Пасешься там, где копятя к Олимпийским играм продукты, сука, для народа, а главного не видишь и не слышишь! Ты приложи свое поросячье ухо к земле, говорю, приложи! — Пригнул я участкового к земле. — Слышишь? Там уже подземные работы ведутся. Здесь вот, на месте нашего яблоневого сада, стадион вот-вот начнут строить, а под ним, знаешь, что расположат, олень пьяный? Под ним центральную Красную площадь строят с Кремлем, Лобным местом, Мавзолеем и со всеми делами. Мы-то если шарахнем по врагу водородками, то сметем его с лица земли, а уж он тоже, конечно, сметет нас. Но с лица подземелья нас не снесешь. Не снесешь. Нету такой еще у ЦРУ силы... Так что вполне возможно, придется нам всем встретить первый день коммунизма под землей. Скучновато, я думаю, будет жизнь проживать внутри, но, с другой стороны, пора и честь знать: пожили снаружи — и хватит. И так черт знает чего натворили мы, люди, на поверхности. Зверя почти извели, луга вытравили, воду в реках замутили, леса вырубали и изгадили, воздух провоняли, как в сортирах и казармах. Хватит... Но ты-то, выходит, не понимаешь нашей маскировочной задачи. Ты не понимаешь, что мы отвлекаем вместе со всем советским народом и Олимпийскими играми

внимание Пентагона настырного от того, что происходит под землей. А мясо и тресковое филе запасаются не для интуриста вражеского на время спортивной эпопеи, почему и нету ни хрена в магазинах, а для светлого будущего. Там, под землей, зажгем мы однажды свет, вентиляторы включим, чтоб воздух снаружи гнали, сядем за длинные столы, нальем в стаканы чистейшей «Особой московской», хлопбыстнем и закусим сначала рыбкой, жаренной в сухарях, с пюре из молодой картошки, а потом после второго стакана за отбивную баранью котлету примемся... Ну, обнимемся, разумеется, и запоем «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить!». А Леонид Ильич запевать будет «Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать». И это уже коммунизм полный, а не хрен собачий. Ты не вставай, говорю, с земли, слушай. Великая под тобой стройка идет рядом с ракетно-ядерными цехами. Великая. И ЦРУ с Пентагоном, ФБР и НТС даже представить себе не могут ее небывалого размаха. Приезжайте, дорогие господа, поднимайте свои штанги, прыгайте с шестом и без шеста, мячики через сетку перекидывайте, кувыркайтесь, плавайте, бегайте, как оглоушенные пыльными мешками, тыкайте друг друга саблями и рапирами, а мы под вами будем продолжать свое светлое будущее наяривать и погибель для вас производить. Вот как, участковая твоя рожа, понимать надо все, что по радио говорят, по телику

показывают и в газетах пишут! И не мы, маскировщики, на переднем гибнущие крае все-народной маскировки, враги партии и правительства, а ты! Почему, спрашиваешь? А потому, что если ты пистолет потерял, когда завскладиху нажаривал, форму с портупеей не сняв даже, то что ты потеряешь, когда враг ракетами по нам врежет? Все потеряешь: ум, честь и совесть нашей эпохи, не говоря о фуражке с кокардой. А теперь будь здоров и не кашляй. Нам на работу пора. Я сегодня на вахту встаю в честь выборов в местные советы и обязуюсь протереть постным маслом десять ракет вместо трех и пересыпать уран-238 из шести старых бомб в одну новую. А завтра все мы выйдем с похмелюги на субботник и будем строить под беговой олимпийской дорожкой новую психушку с закрытой тюрьмой, а также книжный крематорий, где партия решила сжигать в огромных количествах антисоветскую и религиозную пропаганду. Вот какая беседа была у меня с проклятым участковым.

13

В тот же день, когда мы костер над ракетой стратегической разжигали, прибегаю я к памятнику Дзержинскому, становлюсь на карачки и стучу бутылкой «Зубровки» по асфальту, чтобы Славка меня услышал. Оттуда, из-под земли, тоже: тук-тук... тук-тук... Там тюрьма

подземная, и прямо к ней метро подвели для маскировки. Перевозка же заключенных по земле сейчас, после Хельсинки, строго запрещена. «Славка! — зову. — Славка! Я вот-вот пить брошу! Меня из партии погнали по пизде мешалкой! Мы с мамкой тебе филе принесли с картошечкой жареной и с огурчиком! Славка!»

Больше я ничего не помню, и только не надо мне, братец, мозги парить, что никакой ты не генерал-лейтенант и вовсе мне не брат родной, а лечащий врач. Ты — говно в таком случае, и я с тобой разговаривать не желаю. Если же ты действительно тот, за кого себя выдаешь, то пропиши мне микстуру. Я сплю плохо, и в мозгу моем голос Левитана дребезжит: «От Ленина до ануса пострадавшего — восемь, от Маркса-Энгельса — десять, до проезжей части — сорок!» Он мне покоя не дает. Заглуши его, как «Свободу»... Ты гляди! Замолк! А может, это Левитан умер? Он же старый. Или же умер он давно, но перед смертью вытянули из него на Лубянке все важные сообщения вплоть до 1991 года и на пленку записали. Не утаил, паразитина!.. Итак, выходит, я в психушке? Чудесно. Чудесно. И еще раз чудесно с маслом! Раз никакой маскировки не существует, раз она плод... повтори, пожалуйста... плод моего больного воображения, значит, в фургонах «Мясо» и «Ешьте тресковое филе» не возят водородные бомбы? Но что тогда в них возят, если мяса нету в де-

сяти километрах от Москвы, а филе в самой Москве днем с огнем не сыщешь? Что в них возят? Где логика? Молчишь? Правильно. Дуська моя говорит: «Хватит, Федя, маскироваться, человеком становиться пора, не читай ты газет, не ходи на собрания, плюнь на радио и телевизор. Изолгались они, Федя, с ума походили, бздят на нас горохом, а где была правда, там хуй вырос! Нам же, бабам, видней, чем вождям, что с вами, с нашими проклятыми мужиками, происходит. И прете вы за старыми козлами напрямиком на мясокомбинат!»

Между прочим, доктор-генерал, фельшер-маршал-лейтенант, брат-санитар, это хорошо, что мы с тобой не родные. Очень хорошо! Я тебе всю правду скажу! Брательник мой двоюродный, тоже Федя, в Туле умер от заворота кишок.

14

Дают Туле «Город-герой». А жрать герою не хера. На полках скумбрия, ставрида, рассольник, колбасный сыр и прочие консервы. Изжога от них у пролетариата тульского. Пряники же приелись до глистов и диабета. Винище, однако, рекой льется, как везде. Тут слух прошел, что Леня должен приехать. Что делать? Набить же надо пузо народу, чтобы он на митинге тихо стоял, газы пуцал, отрывивал и не вякал вопросы провокационные. Дернули

на политбюро Микояна. Он при Сталине был главный советник по голоду и питанию населения. «Говори, Анастас, как быть? Как моментально Тулу накормить?» Думал Микоян, думал и наконец честь отдал. «Додумался, — докладывает. — В Москве резервов говядины нет, баранина из Новой Зеландии задержана в Индийском океане тайфуном “Бетси”, свинина очень жирная, и тоже ее мало. Предлагаю совершить исторический рейд Особой отдельной кавалерийской дивизии по маршруту Москва — Тула под девизом “Герой — городу”. По прибытии дивизии на тульский мясокомбинат моего имени немедленно начать убой, разделку туш и производство вареных колбас сортов “отдельная” и “особая”, которые уже завтра можно выбросить населению! Кавалеристов же после сдачи шпор, сабель и штандартов переобуть в оперативные работники по охране Леонида Ильича и членов бюро обкома!» Дали Микояну медаль «За освобождение Тулы». И зацокала дивизия лошадушек по шоссе на рысях на большие дела. Все так и сделали, как велел Микоян. Слышат алкаши тульские ночью: кони ржут, словно режут их. Повскакали с кроватей, с мостовых, с газонов, с нар, думают, что горячка белая начинается. А утречком бабы ихние протерли глаза, ибо не верится, что вчера еще голымголо было в колбасных отделах, там «спортлото» продавали, нынче же лежат колбасины красно-лилового цвета и пахнут вполне нату-

рально. Отдельная — 2. 20 кг, особая — 2. 90. Разобрали ее мигом, как эшелон с дровами в холодный год. Тут Брежнев прибыл. Выпили все. Закусили. Колбасы наелись, сто семнадцать туляков загнулись от заворота кишок. И мне не легче, что директора мясокомбината перевели в фирму «Заря» за то, что он приказал заложить в фарш побольше крахмала, чтобы всем колбасы хватило. А митинг был. Я его по телеку видел. Стоят туляки, ушами хлопают, переваривают Особую отдельную кавалерийскую дивизию вместе с речью Леонида Ильича Брежнева. Все он тогда сказал. И про невиданные успехи, и про неслыханный трудовой подъем, и про яркие вехи, и про всенародный бой за качество продукции, и про Ближний Восток, и про Анголу — про все. Не заикнулся только о героических трудностях снабжения населения продуктами первой необходимости. «Да здравствует советское метро — самое красивое в мире», — сказал напоследок и слинял. Кавалеристов же в стройбат отдали строить музей «Тульского пряника». Вот какие самовары! И не надо меня, Федора Милашкина, пугать да страшить. Мы и так пуганые и застрахованные. На гипноз же меня не назначай. Хватит! Шестьдесят лет нас гипнотизируете, нам и кажется, идиотам, что шагаем мы вперед к коммунизму, что сложился из нас человек нового типа и что все советское означает отличное. Хватит. Если я завязал, перенесши тяжелейшую бе-

люю горячку, если я героически пить бросил и жду не дождусь, когда лягу спать на свежую простынку рядом с женой Дуськой, то мне ни гипнозы твои бесплатные, ни калики-моргалки не нужны. Аминизин, пердомуразол, политбюронал ты сам хавай. Язык же мне никто не укоротит. Он не штанина. И насчет того, есть бомбовые заводы у нас под землей или нет, я сам разберусь. Поеду в деревню, колодец вырою и погляжу. На твой вопрос относительно тяжелой умственной наследственности у моего сына Славки отвечаю отрицательно: Я лично, до того как пить начал, был токарем восьмого разряда. Дуська моя — шеф-повар рабочей столовой. Если бы она по Би-би-си рассказала, чем кормит партия народ, притом, что народ откормил партию, как индюшку, то много было бы шума, много. Ты меня, крокодил, можешь сажать куда хочешь. Все равно я поеду в Хельсинку получать премию за то, что я, бывший алкоголик Федька, отстаиваю право человека получать за свой титанический труд впервые в истории мясо, масло, молоко, овощи и фрукты на столбовой дороге человечества. Маскироваться больше не желаю и другим не велю. Мы теперь с бывшим отцом водородной бомбы будем работать на пару. Он пускай качает с политбюро права насчет свободы слова, психушек, ингуризма и так далее, а я займусь остальной жизнью. Столовыми, гастрономами, промтоварами, вредительством в винно-водочной промышленнос-

ти, пидарасами длинноволосыми — всего не перечтешь. Работы непочатый край. Делать мне все равно будет не хера на второй группе по мании преследования. Вот я и займусь вопросом обмана, унижения и издевательства над человеком в сфере бытового обслуживания. Затем обобщу все это дело и пошлю в «Правду» передовую: «Советская власть плюс электрификация — нам до лампочки!» Пусть попробуют не напечатать! Да! Я — инакомыслящий! Я не мыслю себе такого положения, при котором для Подгорного водку выпускают очищенную, а для меня сивушную, от которой мою голову... Молчу. Ой, молчу! Не надо звать санитаров! Молчу! Но я скажу еще всего лишь одно слово. Люди! Не грейте на костре портвейна! Люди! Ешьте тресковое филе! Оно вкусно и питательно! Долой «Солнцедар»! Ша-а-ай-бу!

Москва, 1977

РУРУ

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОЭЗИЯ

*Крестьянке Нью-Хемпшира Нине Моховой
и ее мужу профессору Дартмунда
и стихотворцу Леше Лосеву*

...Ира однажды налопалась лягушек в Бургундии. Я имею в виду чудесное старинное блюдо, которое соблазнило ее своей экзотичностью в деревенском трактире. Сам я предпочел тогда кусину говядины от одного из первых ребер, зажаренную на углях.

В купе поезда, когда мы возвращались в Париж, Ира — эта большая гурманка — чуть не упала в обморок. Температура у нее подскочила, очевидно, до сорока с лишним. Лицо беспомощно пылало, как у ясельного ребенка, подхватившего скарлатину. Я был совершенно растерян, не зная, что делать, пока в моем подавленном уме не блеснула диагностическая догадка о стихийной аллергии...

Организмы даже самых близких, достаточно вроде бы изученных вами существ способны вдруг поразить вас какой-то совершенно непредвиденной и пренеприятной импровизацией. Действительно, могло разве прийти мне когда-нибудь в голову, что между замечательно приготовленной лягушатиной и состоянием подружки жизни — она очень быстро тогда поправилась — обнаружится вдруг такая взрывоопасная, загадочная связь?..

(Из письма к З-ну)

Вспоминаю свое пребывание в 198... году в бывшей Смоленской губернии, под Ельней. Дивные те места — вследствие восприятия всего трагического и прекрасного в нетрезвом виде — глубоко, до конца дней, запали в мою душу.

В тех местах я пил однажды совершенно жуткий, смертельно синий самогон с двумя печальными крестьянами. Оба они временно были отлучены — в силу различных обстоятельств социальной жизни — от полезного труда.

За некоторое время до поглощения этой inferнальной жидкости мне приходилось, поборов смущение, зажимать двумя пальцами обе ноздри, чтобы хоть как-то обмануть не дремлющее в каждом чувствительном человеке обоняние. Уже Гиппократу было известно, что функции какого-либо органа чувств, насильственно подвергнутого давлению извне, на какое-то время как бы обиженно отмирают.

Так вот, в момент одного из многочисленных и спасительных за тот день отмираний моего обоняния жажнул я еще полкружки оловянно-синеватой отравы, которой не брезговал, бывало, создавать в мозгу иллюзию возможности улучшения отношений с невыносимо бесчинствующей реальностью.

Крестьяне, собутыльники мои и новые мои знакомые, смотрели на меня в моменты

«принятия» точно так же, как сам я смотрел на ублюдочную жидкость — со спазмом гадливости и презрения.

Не могу, однако, не заметить, что состояние, мгновенно заполнявшее все ваше существо уже через пять-шесть секунд после столь многотрудного приятия в себя спиртного напитка самого низкого происхождения, — состояние ваше становилось таким благородно и чудесно взвешенным в тоскливом растворе праздного сельского дня, таким становилось оно вселюбивым, всепрощающим даже, сказал бы я, духовно возвышающимся над неестественными несообразностями самой измордованной жизни нашей, каким, безусловно, не могло бы оно стать после фужера аристократического коньяка или стакана простой, совестливо произведенной, покойной, к сожалению, водьяры...

Жахнул я в очередной раз, проморгался от слез, вызванных всегда обидным для телесной плоти зажатием трепетных воскрылий ноздрей промеж двух грубых пальцев, и пошарил оком: чем бы хоть занюхать столь жуткую отраву?

Увы, банка бычков в томате была пуста. Жестянка ее чернела на глазах, как бы неумолимо окисая от разъедающих любое вещество и живую плоть веяний колхозной действительности.

Птички, воспользовавшись мгновением

разлития в наших существах духа покоя и нетрезвых иллюзий приобщения к азам высокого порядка, — птички быстренько доклевали вмиг подсохшие на солнышке невзрачные крохи государственного хлеба.

Стол наш садовый представлял собой безнадежно безжизненную пустыню.

У неопрятных курей, переживавших, видимо, тепловой удар и оперевшихся в тенечке, чтоб не упасть, о штабелек стареньких дощечек, был такой предельно жалкий вид, что помыслить о принесении хоть одной из них в жертву звереющему аппетиту значило уничтожить в себе остатки неприкосновенного запаса человеческого достоинства.

«Совсем без него куда уж, — думал я в тот момент. — Разве что — в базарные мясники или в привокзальные таксисты...»

Дощечки, кстати говоря, лежавшие в том ветхом штабелке, вызывали в уме сочувственный вопрос: почему им года три-четыре отказывают в праве сгореть в домашнем очаге с достойной полезностью? Почему неразумно гноят их под пеклом лета, под дождем, под снегом с наледью и под пронизывающими ветрами? Почему хозяева дома, еще имеющего, слава богу, печь, отказывают беспризорной, прозябающей древесинке в праве личного скромного участия в тепловых делах мироздания?..

Степан Сергеевич — до скорбной боли в душе и возмущения умственного гнева чело-

век этот походил на маленькое захоронение безвременно ушедших от всех нас талантов, — Степан Сергеевич вдумчиво обклеивал свой же левый кулак довольно крупными лоскутками-кожурками бывшего картофельного мундира...

Забегая вперед, скажу, что впоследствии меня весьма удивила распространенность в Америке настольных игр, испытывающих обывателя на исправность работы некоторых участков памяти, на терпение, деловое прилежание и наличие в его натуре чувства упорства в достижении пусть даже самой ничтожной и абсурдной цели. Настольная эта игра называется ПАЗЛ, что означает по-нашенски *головоломка, собиралка, складывалка*.

Суть ее и лад — в страсти восстановления картин **целого** разной сложности. В выкладывании либо какого-нибудь дивного пейзажа, либо рембрандтовой копии, либо старинного парусника из беспорядочно перемешанных друг с другом десятков, а то и многих сотен кусочков картона. На них и была раскроена неглупыми предпринимателями — стихийными, так сказать, человековедами — картина того **целого**.

И вот, представьте себе, сидит в одном из обжитых уголков богатейшей и свободной Америки нормальный обыватель. Сидит он в уютной тишине домашнего гнезда или, вроде нас, на жалконькой плешечке своей земель-

ной собственности, за деревянным столом; сидит, может быть, одиноко, а может быть, окруженный своими близкими; он сидит, с адским терпением роясь в хаосе дразняще загадочных кусочков и радуясь удаче правильного совмещения одной какой-нибудь частички целого с другой частичкой или с частичкой этой частички; сидит, безумно порой раздражаясь, порой впадая в мрачное отчаяние, порой остервенело злясь на себя одного и одного себя проклиная за отсутствие наблюдательности, терпения, памяти и порядочности, то есть дара соответствия порядку простейшего, посильного даже для слабоумных леди и джентльменов труда; сидит, корпит, забыв, возможно, о всегда имеющихся у обывателя разнообразных неприятностях, о достаточно горестных настроениях нынешнего века, об окончательной падшести мировой политики, о плюгавеньком душке предательской вражды, витающем над еще дышащей, над бездарно опоганенной нами, над единственной нашей планетой, и о крысином нашем уничтожении Творения, — сидит и восстанавливает картину целого, живописное изображение которого лежит тут же, у него под руками.

Он то и дело поглядывает на вспомогательную эту картинку, выискивая на откровенной плоскости ее пространства намеки на какое-либо сходство с тем или иным из множества перемешанных фрагментиков целого,

на которые оно и было раздраконено в соответствии с простыми правилами этой настольной головоломки-собиралки:

Иногда, держа изображение объекта устремления всех сил и всего своего личного времени лишь в памяти, он продолжает выкладывать его копию исключительно по наитию, как бы самоиспытываясь на присутствие в себе томления по первооткрыванию неких далей и способности деятельно превозмогать неизвестность...

А каких только целей не ставит перед собой недальновидный от природы человек — особенно целей совершенно ложных и нелепых, — наивно полагая цели эти лучшими способами борьбы с *неизвестностью*...

...Но иногда, совершенно непредвиденным образом, обретает вдруг головоломствующий обыватель высшую степень всякого мастерства. То есть он любовно доверяет материалу естественное право распоряжения неведомо откуда к нему снизошедшей и неведомо как возникшей в нем самом восхитительной энергией саморазвития.

Вот тогда он, бескорыстно торжествуя и с душевным восторгом, знакомым не только богам, поэтам и живописцам, наблюдает, как ладненько — на кромках и посерединке — восстанавливается из вроде бы вполне безнадежных руин и хаотически разбросанных обломков, скажем, *Вермонтский водопад*...

ночная стража... роца цветущих персиков... гравюра Лиссабона... панорама Хиросимы (виды городов до рокового землетрясения и немислимого торжества науки)... карта океанов и материков земного шара (копия Магелланова путеводителя)... кусок звездного неба (первая десятидневка яблочного августа)...

Образ **целого** окончательно еще не возник на столе в полной соразмерности частей, родственно слитых друг с другом, с ясно различимыми между ними свежими швами, вызывающими и в моем сердце нежную, радостную боль сопереживания любой удачно оперированной, сращенной плоти. Но вы замечаете вдруг в выражении лица обывателя, занятого праздным, казалось бы, делом, самозабвенную страсть сосредоточения и черты первобытной божественной простоты — простоты поедания хлеба, испития воды и безрассудного согласия человеческого существа с обреченностью на устрашающие тайны трагического бытия.

И в голове вашей... да какое там в голове — всем вашим существом, сами того не понимая, но лишь замороженно — до мурашек по коже — соглядатайствуя, приобщаетесь вы к тому, что, скажем, одинокий слепой воспринимает как счастливую примету правильности невидимого пути, крестьянин-хлебороб — как абсолютное знание всех биохимических тайн сотворения почв и произрас-

тания знаков, влюбленный человек — как истину своего существования, а осчастливленный дивным даром поэт — как знак судьбы, то есть как совершеннейшую единственность рифмы и звука...

Это уж другое дело, что, полюбовавшись властью на *собранное*, завтра потратится мирный и социально уравновешенный обыватель на новую *собиралку-головоломку* или разрушит от скуки житейской все накануне восстановленное. Разрушит и тут же вновь засядет за его выстраивание, насыщая живущую в своем — то ли к сожалению, то ли к счастью — непросвещенном существе тайную, темную страсть восстановления из пепла и руин **целого...**

Но бог с ним, со свободным собственником — с американцем.

Вернемся-ка мы в Ельнинский район бывшей Смоленской губернии, в садовый дворик.

С каждой минутой левый кулак Степана Сергеевича все больше и удачней походил на лепное изображение довольно крупной картофелины необычной формы.

Перед тем как наклеить, он с выражением на лице любви и уважения даже к такому, нелепому на первый взгляд мастерству — слюнявил все эти очередные, слегка закурчавившиеся с подсохлых краешков лоскутки кожиры, безошибочно подбирая один к другому.

Получалось все это у него замечательно.

Кожурки мундира с кое-где сохранившимися пуговками глазков каким-то образом ладненько примыкали друг к другу, словно в них самих продолжала жить после съедения ихнего родного картофельного плода некая могущественная сила, тоскующая по возобновлению изначальной цельности пусть даже только одной своей сваренной внешней оболочки.

Каких-то три-четыре минуты — и вот уже не кулак держит Степан Сергеевич перед своим поистине вдохновенным лицом, а натуральную картофелину держит он перед лицом своим, еле сдерживая в глазах слезы умиления перед совершенством исполнения ничтожного дела, а также перед еле уловимым, перед остаточным, но все же явным присутствием Духа Искусства Жизни посреди всего того, во что превращено было совместными усилиями наивных утопистов и немислимых злодеев бесконечно униженное это и изощренное, оскорбленное, а некогда скромное буколическое пространство.

Я тихо и покорно наблюдал за всеми действиями Степана Сергеевича, в которых мне тогда, должно быть, виделись не только значительные символические смыслы, — например, бессознательное вникание в напрасно опороченное слово *кулак*, — но и смутные образы превозмогания нескольких видов уныния: социального, бытового, обыденного и нравственного — самого убийственного из многочисленных наших жизненных уныний.

Должно быть, чужалось мне также в природе странного и уникального увлечения Степана Сергеевича делом восстановления внешнего облика съеденной картофелины нечто, как теперь говорят, архетипическое. То есть то, что тайным образом находится в составе существа человека, но дает знать о себе либо милостиво, либо зверски, когда какие-либо обстоятельства в личной его действительности или в жизни общества становятся в каких-то своих чертах похожими на обстоятельства, на тени обстоятельств, впервые отложенные всем опытом раннего существования в самых сокровенных уголках родовой нашей памяти, в каждой клеточке все еще произрастающего, слава богу, генеалогического нашего деревца...

Хотя, помню, подумалось мне: какая может быть связь между, скажем, вьедливыми призраками начала земледельческой эпохи, пережитой первыми оседлыми крестьянскими коленами Степана Сергеевича, между вот этой самодеятельно вылепленной бульбой и тем уродливым распадом достойной сельской жизни, который мы в те дни осоловело воспринимали под тоскливою балдою и о всевозможных сторонах которого не было у нас больше сил болтать беспомощными языками?

— Такие клубни больше тут не родятся. Одна дробь с куста driщет, — произнес вдруг Степан Сергеевич и плеснул себе еще

полкружки свободною рукой. Жахнув, он выдохнул из себя дух сивухи с симпатией и отвращением одновременно. Занюхал дозу своим же лепным кулаком, затем добавил: — На хрена ей, собственно, родиться? Она этого не желает. Не же-ла-ет категорически и ни в жисть. Чего она тут не видала? Чего ей жрать в земле? Химию? Нитрат Нитратыча? Ебала она всю эту химию в... супербздилоандигридофосфат.

Степан Сергеевич даже удивился — до того складно и без запинки произнес он это замысловатое, а главное, не существовавшее до этой минуты в словарных запасниках Отечества словечко.

— Чего, еще раз подчеркиваю, она тут не видала? Физий городских? Они же пригнаны райкомом на нашу картошку насильно. Но ненавидят натурально только ее одну. А она, бедная, еще ведь с лопаты — вся в черных ушибах, словно пьянь вокзальная. А потом?.. Внимаешь, Писулькин, что за невыносимая у нас тут деревенская проза?.. Потом картофельный несчастный народ от борта до борта вертухается, словно деды наши, бабки и папашки с мамашками в жестоких кузовках НКВД. Последние себе бока отбивает. Потом в телятниках да в столыпинских товарищ Картошкин с товарищем Картошкиной в мундирах драных зябнут, в ишачий хер погибаются, соплей страдальческой исходят. Потом в хранилище их бессердечно бросают. Там

они и доходят-фитилят до аврального перебора... Ужас... Говорить не могу... Хошь аминазин жри... Возьмет корреспондент этот членов картофелину осклизлую в руку и думает: что за паскудный оборот веществ в природе? Я ж тебя копал-ненавидел, от микроскопа родного оторван злобной партийной силой, я ж тебя, транспортируя, безбожно терял и побивал, а теперича ты тута бесконечно гниешь, на рынке проституируешь в десятижды дорога, за что же ты все-таки надомной издеваешься, сучка недокрахмаленная?.. Я одному такому члену ученому лопатой врезал по хребтине в полевой дискуссии. Больно, говорю? Вот и ей тоже больно. И еще больней, чем тебе. Потому что не ты ее кормишь, паразитина, а она брюхо твое заполняет благородной полезностью всемирного крахмала... Пятнадцать суток влупили мне тогда вместо года, так как пострадавший корреспондент лично покаялся и стал на суде защищать мою немыслимую объективность. Потом его признали диссидентом, вроде Солженицына с Сахаровым, и чалму повязали мордовскую. На семь лет. Жаль человека. С людьми у нас тоже поступают еще хуже, чем с картошкой. Возьми Афган. Или вон у Федора — баба-счетоводка который уж год ничего в себе не несет, кроме чернил, краденных из правления, и апельсинов из Москвы.

— А чего ей рожать? — впервые встрял в

наш пьяный разговор Федя — человек чем-то пришибленный, а оттого и бесконечно грустный.

— Никакого живчики мои не прикидывают
в колхозной действительности
для себя удовольствия.

Ни товаров, как говорится,
широкого потребления,
ни самого узкого продовольствия.

Это ж надо, до чего мы все дошли!

Слыхано ли дело, чтобы на родине
великого Глинки,

в вонючем нашем сельпе,
нельзя было бы сгношить

ни портвешка, ни затруханной четвертинки?

Я сунулся было в карман за карандашиком и записной книжечкой, чтобы зафиксировать в ней некий, быстро мелькнувший в моем пьяненьком воображении призрак мысли о жизнеустроительном значении стихийного явления случайной рифмы в речи сельских жителей умирающей деревни, но это значило бы прозевать поток самой этой восхитительной — при всей невеселости предмета разговора нашего — и истинно живой речи. Куда там, с праздным карандашиком было бы за ней не поспеть.

— Вот я и рассуждаю в ежедневном подпитии, что семенной фонд — он очень тонко реагирует на дальнейшие постановления о дальнейшем улучшении и развитии, — стихийно дорифмовал свою мысль Федя.

Степан Сергеевич продолжил ее, прижав щеку к картофельному своему кулаку:

— Потому и засновали мы, недоплодив и недорожав, как мыши, по американским амбарам. Я — крестьянин, мать вашу разъети в сельсовет-заготскот-райдортрест. Я говорю на Седьмое ноября на собрании: что ж вы, суки, в Литву намылились и в Латвию, а сами еврея пропечатываете предателем за то, что он Родине изменил и в Палестину сваливает? Он ведь все же, говорю, в свой огород намылился, а вы, эмигрантские ваши рожи, Смоленщину многострадальную и Жабуньку родимую на одного комара и гусеницу с жабами оставляете? Бежите, падлы, полоскать мослы в Балтийском океане, окошки тесинами перекрещиваете? Смотрите: дуба дает наша Жабунька. Ее сам Наполеон с большим сожалением, между прочим, покинул. Отступаете, козлы, прочь от родимой картошки к колбасным прилавкам? Не из-за вас ли, говорю, в городе белобородатый картофель кубинский продают, «фиделькой» называется? А вы меня, говорю, за грозную правду тяжких времен поганите чучелом объявить безумным, грозите в психушку вхреначить вместе с водородной бомбой, с *Архипелагом* и с последней моей действующей бабой разлучить? Вы и есть, товарищи гнидовозы, предатели Жабуньки, эмигранты без креста, земли, воды и пламени. Тьфу... И я еще раз подчеркнул...

Степан Сергеевич неожиданно примолк, поскольку все мы увидели человека в милицейской форме, но без фуражки. Он подъезжал к нам на допотопном запыленном велосипеде, доживавшем, видимо, последние дни, если не часы, но еще двигавшемся, так сказать, по упрямой старческой инерции и, возможно, только назло иным, изредка сновавшим то вдали по пыльной дороге, то в небесах механизмам.

— Участковый, — сказал Федя, быстро отпулив почти пустую бутылку, а также наши кружки за оборонительный кустик крыжовника.

— Пропиши, Писулькин, что этот козел велосипедизированного бюрократизма и чиновник властей отволакивал меня в психушку, — сказал Степан Сергеевич с памятной горечью, но и не без некоторой гордости за прошлые страдания.

— Он — сволота — обвязал Степана веревками с головы до ног и захерачил в кузов, как казенной картошки мешок, — стихотворно пояснил Федя.

— Ну, что, тунеядцы? Существенно увеличиваете распад маразма? Городского паразита спаиваете? — враждебно, но не без некоторого служебного кокетства выкрикнул участковый и как-то рухнул вместе с велосипедом на ветхий заборчик, чуть не завалив его. — Хоть бы взяли топоры да пару пасынков поставили.

— Куды-ы-закуды-ы? — издевательски лениво спросил Федя.

— А вот сюды-ы, — передразнил его участковый, как бы солидно готовясь к начальственному выходу из себя.

— А мы-то думали, в Афган потребовались тебе пасынки. Сынков и братишек мы ведь уже поставили, — сказал, не скрывая ответной враждебности и ехидства, Степан Сергеевич. — Я вот тисну на тебя телегу, что ты Русь опять к топорам зовешь. Велосипедизация хренова...

— Опять матюкаешься, Юкин, при моих служебных обязанностях?

— Есть свидетели, что Юкин на букву «хэ» — ни слова, а ты бы совесть имел, хрен ли ты священный покой похоронного горя нарушаешь своей мордастой портупеей?

Федя как сидел, так рухнул вдруг наземь. Его затрясло. Потом он просто взвыл, надрывно возвышая голос до неких трагических аффектов, способных достичь, как кажется многим из нас при такого рода рыданиях, самых высших небесных инстанций.

Поначалу, впрочем, мне показалось, что вся эта пантомима есть артистическое течение фамиллярного розыгрыша привычной встречи с властвующим на селе милицейским чином.

Но Федя так вдруг скрючился и так поси-
нел от внезапной пневматической неприятности в организме, что сердце мое, отбросив

всякие медленные мысли в сторону, с мгновенною болью отозвалось на чужую беду.

— «Скорую» надо бы, — сказал я растерянно.

Участковый посмотрел на меня как на такого идиота, каких он давно уж не встречал в бывшей Смоленской губернии.

— Что верно, то верно, Москва всегда права. — Степан Сергеевич встал из-за стола и направился к кустику крыжовника. Левый кулак-картофелину он осторожно держал перед собой. Взгляд участкового прикован был к сюрреалистическому этому предмету с большой и весьма напряженной аналитической силой.

Свободной рукой Степан Сергеевич поднял с земли бутылку с остатками жуткой сивухи.

Участковый при этом отвернулся, как бы давая понять, что он ничего такого не видел и что, вообще, мало кто, к сожалению, из людей знает, какие в его служебной душе имеются запасы истинно человеческого великодушия.

Я бросился к Феде, положил голову его себе на колени и влил ему в рот сосудорасширяющей жидкости. Зубы его, по-младенчески хватаясь за жизнь, так и отбивали жалобную дробь на гунявой стекляшке горла бутылки.

Полминуточки — и он, очухавшись, уже сидел на травке и словно бы вновь выстраи-

вал сам перед собою только что окончательно и вроде бы необратимо разрушавшуюся на его гаснущих глазах картину **целого...**

Он смотрел с совершенно младенческим удивлением и радостью первоузнавания на дворик, родственно приявший в бедняцкую тесноту милого своего пространства невыразительный домишко с худосочным огородишком, и на те самые старенькие дощечки, и на жалко перекоsobоченный, почти развалившийся скворечник сортира, и на всетерпеливую, почти необитаемую местность, давно уже молча вопрошающую неизвестно у кого неизвестно что, и на небеса, всего минуточку назад низко, мрачно и взыскующе над ним нависавшие, но вновь, по одному лишь заступническому мановению свежего ветерка, отпустившие слабому человеку все вольные, как говорится, и невольные и обретшие в тот же миг ясность самоуглубления и надмирную высоту.

С беспредельной благодарностью глядел Федя на небеса, в очередной раз милостиво отпустившие страдающей его душе и болящей, пьяненькой плоти бессчетное количество грехов. И словно бы оттуда, с небес, капнули и тихо потекли по безжизненно бледной щеке его две чистые живительные дождинки.

Он и на нас затем взглянул с умилением, исторгнувшим вдруг из глаз его совсем бурные слезы, настоянные на чистойшей трезвости, — слезы вины, ужасного опыта помира-

ния и настоящего призыва к непременно-
му превозмоганию всех трагических перипет-
тий существования. Застеснявшись слез, он
сказал:

— Во всей — слыхано ли! — области
нету ни пирамидончика, ни валидола.

Вместо них гонится, поговаривают

умные люди,

в Москву с Уолл-стрита бесполезная кока-кола.

— Не у одного тебя, Федя, такая катава-
сия. Свинцовые гробы, как поется в похорон-
ной песне, летят со всех концов на плечи ма-
терей-отцов, в смысле дальнейшего развития
зверских appetitов и скачки Медного Всад-
ника по телам народных Евгениев, исходя из
моего школьного сочинения. Так что, давай
помянем Жеку. Преступлений вокруг не пред-
видится, судя по жарище и поголовному де-
зертирству. Крепка у нас кутузовская тради-
ция отступать оголтело на Москву. Оста-
лось? — сказал участковый.

— Семнадцатый день поминаем, но оста-
лась самая малость. Только жрать нечего.
В сельпе ревизия растраты пустого прилав-
ка, — сказал Федя, мгновенно обретая способ-
ность к деятельности. Он тут же просто-таки
полетел к домишке — полетел, как раненая
птица, волочащая по земле крыло, подбитое
кривоглазым Роком, но намеренная спастись
от него во что бы то ни стало.

— Федорова брательника Женьку помина-
ем, — сказал мне Степан Сергеевич, наверное,

раз в десятый за сегодняшний день. — Афганцы голову ему отрубили в плену, хотя в похоронке нагнали, что погиб воин при исполнении интернационала долга. Гроб свинцовый вскрыл Федя фомкой, а в нем — все Женькино, кроме самой головы. А голову, между прочим, подлую и глупую, следовало отрубить прямо на Лобном месте орденоеду чернобровому. Осмелюсь, Писулькин, пропечатать сию народную мудрость в своем журнальчике.

— Вот что, Юкин, — сдержанно сказал участковый, — на десяток таблеток гелиперидроламицина ты уже натрекал, но я предлагаю перемирие промеж тобой и властью на местах, ввиду дальнейших поминок временно, то есть безвременно ушедшего от нас Евгения Вешкина. Я даже мораторий щедро накладываю на розыск дерзкого вашего и неуловимо самогонного змеевика.

— Знаешь, что я делаю с твоей властью на местах? — взвился, не унимаясь, Степан Сергеевич. — Мну я ее каждые пять минут по-петушиному!

— Ты ее мнешь, а она с тебя все равно не слазит. Но на меня лично ты, Юкин, зря окрысился. Если б не я, то другой представитель повязал бы тебя и отвез куда следует, — сказал участковый в высшей степени благодушно от предчувствия неотвратимой выпивки.

— Не на это негодует Юкин. — Степан Сергеевич помотал перед носом своего врага

внушительным бюстом картофелины. — Мало того, что ты повязал Юкина со зверской жестокостью — с такою в «Клубе кинопутешествий» диких тигров не вяжут, — но ты меня развязать даже не мог, а веревку пожалел разрезать. Ты автола налил на тугие узлы, и по всей коже тела пошла пятнистая аллергия чесучей парши. Выпивки тебе здесь не будет, антинародная полиция. Жми на педаль, еще раз подчеркиваю, и поезжай отседа к своей Ефросинье Велосипедовне.

— Вы, товарищ, откуда, то есть кто вы будете? — спросил меня участковый. Чувствовалось, что он мучительно стеснен во всех служебных движениях неудержимым желанием опохмелиться, а потому и вынужден смириться с жестокими поношениями.

— Он — товарищ Сочинилкин, — вступился за меня Степан Сергеевич. — Может влить светлых чернил правды в твой ментовский калган. Докажи ему, керя, что орденоед не сам начирикал три телеги пропаганды говенной лжи, но вывезла их на премию шобла ваша писательская. Вот — рабы. Меня хоть антикрестьянская коллективизация сделала рабом, а твою соху скрипучую что за сила заставила пахать хрен знает что?

— Коллективизация никого не обошла стороной, — сказал я, защищаясь. — Даже на арене цирка нарушила она классический покой. Моих родителей заставили страстно эквилибрировать не на безыдейных шарах, а на

чучелах голов Гитлера, Троцкого, Каутского и Муссолини. Потом в порядке стахановской нагрузки прибавили черепов Бухарина, Каменева и Зиновьева с Тухачевским. Потом повязали за жонглерские манипуляции какими-то намеками в праздничном номере, посвященном съезду профсоюзов. Погибли задаром родные мои акробаты из-за апофеоза абсурда в нашей отдельно взятой несчастной стране. — Мне показалось, что, зараженный вдохновением и стихотворным мастерством Феди, я с пьяной грустью пропел, а не выговорил эту фразу.

— На головы всех вышеупомянутых граждан, типа Бухарина и Муссолини, мне лично насрать прям с американского спутника, — сказал Степан Сергеевич. — Головы эти сами хороши насчет кровищи народной хлобыстнуть, а горюшком нашим подавиться в Берлине и в Кремле. Папе твоему и маме — Царство Небесное... Кол-лек-ти-ви-за-ци-я-ве-ло-си-пе-ди-за-ци-я всей страны...

— Жаль мне тебя, Юкин. Жаль. Сядешь в одночасье. Сам петлю затягиваешь на своей беспозвоночной трекале. Шею имею в виду, говоря официально.

— Я — невменяемый первой группы. Свободен говорить все, что думаю. Для того чтобы меня захомутать, докажи теперь, что я вменяемый. Вот как дело обстоит с нашим заколдованным кругом. Понял?

— Предъявите, товарищ, документы, что-

бы я хоть знал, с кем поминать сейчас будем бедного Евгения, трагически погибшего при исполнении интернационала долга, — как бы даже взмолился участковый.

Я протянул ему руку и представился.

Видимо, присмотревшись в умё к имени моему и к фамилии, особенно к носу, он детективно эдак оглядел мою фигуру с головы до ног и детективно же спросил:

— Вы, простите за выражение, из них будете? — Я, не засмуцавшись затравленно, как в детстве, подтвердил кивком головы его догадку. — Ну, ничего... ничего... вот жахнем — полегче станет... родился кошка — мяукать будет, как говорят армяны...

В тоне участкового было такое искреннее, неподдельное сочувствие к столь горестному, на его взгляд, происхождению человека, что я засмеялся.

— Канай отседова, мент, ни хрена тебе сегодня тут не обломится, — сказал Степан Сергеевич с просто-таки испугавшей меня ненавистью к представителю власти. — Ты есть враг всех народов!

— Ну, Степ, ты совсем очумел. Я не враг, а как раз наоборот. Я, если хочешь знать, пострадал за ихнего брата, — по-человечески возмутился участковый.

Я счел нужным высказаться в том смысле, что совершенно ничем не задет, да и давно, слава богу, привык не чувствовать себя как-либо задетым даже самыми дремучими, низ-

коватыми репликами насчет моего родного «всекаверзного» племени.

— Спасибо тебе, человек с большой буквы, за правильные чувства... мы вот-вот с тобой назююкаемся, и я расскажу, как пострадал за тебя лично, — воскликнул участковый, обняв меня дружески.

— Отчепился бы ты, что ли, от человека, — сказал Степан Сергеевич, — мораторий-крематорий прямо хренов...

Тут возвратился Федя, обтирая полой майки матовую бутылку.

— Ей-богу, православные, подавиться нечем, — виновато, но весело сказал он голосом быстро выздоравливающего человека, и все так же стихийно рифмуя:

— Народный десант не возвратился еще из продуктового рейда на нашу столицу.

В доме — ленинградская образовалась
блокада.

И нечем, повторяю с сожалением,
нам с вами подавиться...

Был там, правда, один рваный пакетик
порошкового лимонада,

но, наверно, Катька взяла его

и выкинула, гада.

Никаких теперь бабам не положено медалей
«За взятие Колбаски», «За оборону Пива»
и «За покорение Тушенки».

Хоть кипяти лебединую песню из крапивы
да заправляй ее козлиным монпансье
и чернью мышинной пшенки.

Занюхаем-ка давайте этот рывок
листочком смородины.

Вот до чего довели партийные паразиты...

— На святую рифму советую не покушаться, — с раздражением предупредил участковый. — Всему есть предел, понимаешь.

— Может, мы, Федор, тогда поквакаем? — сказал Степан Сергеевич. — Только я сходить не могу. Рука, вишь, одна занята. — Он с любовью пригляделся к своей странной самоделке.

— Я враз сбегаяю, там небось полна уже коробочка моей КПЗ, — сказал Федя, — хотя меня ревматизма с утра по... — восприняв служебно-угрожающее движение желвака на щеке участкового, он выразился гораздо интеллигентней, чем намеревался, — помучивает она меня, сукоедина.

— Ты, писатель, тиснул бы, что ли, телегу, как на родине Глинки и Твардовского с Исаковским завсельпо кислород нам перекрывает, сука такая тараканья, — скрипнул зубами участковый. — А район родственно поддерживает эту зловредную цитадель спекуляции.

— Не цитадель, а ци-да-тель, — угрюмо поправил Степан Сергеевич своего врага.

Тот миролюбиво возразил:

— Любой дуре известно, что по всем правилам движения букв внутри слов — ци-та-дель. Чего уж ты, Степ?

— А я говорю, что гораздо правильной будет ци-да-тель.

— Ци-та-дель, Степ.

— Ци-да-тель.

— Нет, ци-та-дель.

— А я что ввозговываю тебе целых пять минут?

— Люди! Так это ж я сказал — ци-та-дель! — начиная выходить из себя, возопил участковый.

— Ты говорил ци-да-тель.

— Я-а-а го-во-ри-и-л ци-да-те-е-ль?.. — повторил участковый с саркастической интонацией моего деда и точно так же, как он, горестно покачивая головой...

Это уж потом подумалось мне, что люди — существа более глубокородственные, чем это иногда им кажется, и как бы ни старались убедить их в обратном бездарные теоретики человеконенавистничества.

И точно так же, как человеку с внимательным умом и добродушным слухом открываются вдруг в языке русском неприметные иноязычные корни или слова, уходящие корнями своими к праматеринской стихии, еще не разделенной довавилонской речи, — совершенно так же замечаем мы иногда нечто гишпанское, непонятно откуда взявшееся в жестах, скажем, литовки, сроду не знакомой ни с одним испанцем, а в созерцательном движении души грузина, не выезжавшего никогда за пределы Мцхеты, — нечто японское, и так далее. И отметив сие обнадеживающее обстоятельство, вы не можете не почувствовать, что

игра подобных любовных заимствований в нашей людской жизни — поистине таинственна и прекрасна, что, более того, игра эта историческая — Божественна. Нисколько не мешая ни отдельному человеку, ни народу существовать в собранном виде, ставшим национальным Целым, делает она необходимыми мысль о тупой нелепости ксенофобии и стыд за неблагородство расистских умозаблуждений...

— И это я го-во-р-и-ил ци-да-те-е-ль? — повторил участковый, взглядом своим, тоже напомнившим мне взгляд деда, как бы выпрашивая свидетельской поддержки у Небес.

Очевидно, трагический сарказм был им заимствован вместе с жестами библейского Иова у какого-то погоревшего водителя, который при задержании в ответ на обвинение мента, должно быть, то и дело повторял заплетающимся языком: «И это я вел ма-ши-ну в пья-ном ви-и-де?..»

— Да! Говорил и говоришь, — продолжал настаивать Степан Сергеевич, лицо которого, кстати, сразу вдруг напомнило мне подзабалдевшее лицо лукавого крестьянина с картины какого-то фламандца.

— Ци-да-тель?

— Вот именно.

— Конечно, я и затрекаться мог с похмелюги, — растерянно сказал участковый. — Поправиться надо бы, Степ.

— Привык настырничать на больших до-

рогах, — подобрел слегка Степан Сергеевич, одолев врага в словесном поединке. — Так и быть, поправься, рублесшибало асфальтово-шоссейное.

Рука участкового тряслась, когда медленно подносил он спасительную кружку к устам.

Скосив увлажненный взгляд, он смотрел на нее и на смердящую поверхность сивухи так, как встречающий человек еще издалека вглядывается в лицо друга, которого не видел несметное количество лет, и как бы даже не веря, что тот выходит из вагона и вот — движется ему навстречу. И точно так же, как целуют дорогого гостя, разом и вза-сос, участковый приник к кружке и не отник от нее, пока не жахнул все до последней капли. Жахнув, моментально заговорил. Это вновь разом вспыхнул от алкоголя угасший было в речи поправившейся личности словесный хворост.

— Начальство, значит, дергает меня и говорит: стой у «Арагви» и жди, когда сядет один Абрамович в свой «Жигуль». Он выпить не дурак. Хомутай его, отбирай права — и на Раппопорта. Скоро мы и эту зловредную реакцию переименуем в наш приоритет. Спровоцируй того Рабиновича на оскорбление твоей личности и даже удар по служебной морде. За вредность удара получишь набор с икрой и воблой. Он тебе — в бубен, в бубен, а ты ему оборотку — в печень, в печень. Не

врезает по морде — будут свидетели, что врезал. У них сегодня экзамен по этому предмету. Доставляй в отделение. Остальное — дело техники госбезопасности. Понял боевое задание? Отвечаю, что понял. Пасу этого Крахмалера на следующий день. Останавливаю возле Долгорукого. Пожалуйста, права и техталончик. Так, так, так, говорю, значит, вы есть на самом-то деле не Абрамович-Рабинович, а Фогель Аркадий Юрьевич? Пройдемте на Раппопорта. Вы — из ресторана сели за руль и прете прямо на памятник первому долгорукому председателю Моссовета. Он говорит: лейтенант, я не пью, завязал, хотите дыхну? Принимаюсь. Ни грамма нет в человеке — по глазам и манерам видно. Что мне было делать? Ну, не мог я его трезвого захомутать. Я ж — ОРУД со смоленской честью, а не Лубянка с холодным умом. Я за нарушения привык либо «лысых» с шоферни отстегивать, либо лишать прав. Зачем же изгибать трезвую законность в кривую преступности?.. Поезжай, говорю, Аркан, изловлю тебя все равно, когда пьяный за руль сядешь. А начальство, наверное, в тот момент давило на меня косяка. Назавтра же переводят, суки, из центра куда-то в глиняный понос. Потом провокацию устраивают. Ловят с поличным червонцем и аля-улю — ссылают на родину. Ну, я им сказал напоследок, что родина — не ссылка, а место, понимаешь, первого взгляда личности индивидуума на всю последующую

жизнь. Если б не большой один человек в Москве, то упекли бы в дурдом, как тебя и Сахарова. А ты, Степ, говоришь, враг народов, когда я самый настоящий друг степей, калмык, и ныне дикий, в общем, тунгус, — начал слегка заговариваться, расчувствовавшись, участковый.

Не буду уж пересказывать всего того, о чем мы, помянув погибшего, бестолково говорили и спорили, пока Федя не возвратился с авоськой, полной здоровенных зелено-бурых болотных жаб. Лапы их торчали из всех прорех авоськи и неимоверно дергались, так что Фебина ноша походила на нечто заморское и дикообразное.

Зрелище это, поверьте, могло бы сделать смешными и жалкими все живописные проказы самых хитромудрых сюрреалистов нашего века.

Не буду также описывать недоуменного состояния всего моего организма и воинственного ополчения в нем благородного воинства антител, возмущенных враждебным видом возможной пищи и готовых к отражению нашествия каких-то болотных жаб на тоскливо подзанывший желудок.

Воля во мне внезапно и существенно ослабла от нежелания показаться в глазах собутыльников городским фраерюгой. Я обреченно, как пленный, покорно следующий за мучителями своими к месту казни, наблюдал,

как бы уже со стороны, за всеми в высшей степени целесообразными действиями Феде.

Он налил в чугунок бутылку уксуса. Поставил чугунок на электроплитку. Вскарabкался, нисколько не смущаясь участкового, с рысью быстротой и ловкостью на столб, торчавший у самого заборчика, и подсоединил к проводам концы размотанного шнура от электроплитки. Спираль ее огненно оживилась и затрещала в местах неоднократных соединений после перегорания.

Должно быть, Федя паршиво себя почувствовал, вскарabкавшись на столб столь быстро, а главное — сразу же после сердечного недомогания. Подсоединив зачуханную плитку к энергосистеме нашей сверхдержавы, он начал очень медленно спускаться вниз. Заключил он столб в объятия так крепко — то ли от внезапной слабости, то ли от страха сорваться, — что пару раз неподвижно зависал на нем. При этом он жалко старался выдать свою смущенную улыбку за усмешку подшучивания чуть ли не над силой тяготения деревенской земли.

— Все ж таки неописуемо великодушны сердца гонимого и вечно преследуемого враждебными вихрями русского человека! — воскликнул вдруг Степан Сергеевич. — Этот змей-портупей отключает нас, как тунеядцев, от электрификации всей страны, а мы его сейчас поить и кормить будем прыг-скоком Бонапарта.

— У человека — не сердца, в смысле грамматики, а одно лишь сердце. Сердца же — у многих людей, — только и возразил весьма отвлеченно участковый. — Похищения у государства всенародных киловатт я сегодня не видел, но пока крадем мы их на местах, не иметь нам электрификации всей страны плюс коммунизма советской власти, — добавил он фальшиво и сурово, но с максимальной сердечностью, вызванной, разумеется, внутренней сломленностью и необходимостью долгожданной опохмелки.

Подобные словесные перестрелки то и дело возникали между моими собутыльниками, и я уже как-то не очень внимал им.

Пока уксус закипал, Федя на глазах моих отчленил от всех жаб — лягушки предварительно лишены были жизни сравнительно благородным способом — задние лапки. Движения его рук, вооруженных ржавым штыком от старого трофейного карабина, были бессознательно пластичными и точными, как, очевидно, у заправского французского кулиара.

Затем он бросил лапки в закипевший уксус. Вынул их из чугунка минут через пять — семь. Выложил в оловянную миску. Посыпал солью, укропчиком, перчиком и облил смесью мутноватого постного масла, размешанного с дурно вонявшей горчицей, которую он, по его словам, спиздил в городской столовке.

Степан Сергеевич разлил по кружкам. Вздохнув, помянули мы погибшего Евгения. Жажнули. Согласно вздрогнули всеми мышцами тел, алчущих поддержки в противоречивой жизни и не брезгующих при этом даже такой несовершенной отравой.

— А теперь, мадам и мусье, квакнем, — с большим аппетитом воскликнул Федя. Он страстно заурчал, обгладывая нечто мышцеватое с ошметками кожицы.

Разило от миски шибче, чем от нашатыря, что само по себе было оздоровительно для слабеющего моего дыхания и некоторой аритмии бедного сердца.

Но я, скрипнув зубами, дал жесткий приказ внутренним своим антителам тихо сложить оружие, подчиниться действительности и вспомнить, как, спасаясь от «архипеллагры», неоднократно хавали мы в бедственные годы таежных сов и даже крыс болотных.

Взял я двумя пальчиками лапку и, стараясь при этом не дышать носом, как в вокзальном сортире, кусанул — чтобы не выглядеть, повторяю, столичным фраерюгой — лягушатинки.

Это было весьма недурно, но могло бы быть, чисто осязательно, нежней, если бы лапки вымочены были в смеси, скажем, коньяка с оливковым маслом и посыпаны гвоздичкой, кориандром да мускусной пылью... Сочок лимончика с чуточком чесночка достойно увенчал бы дикое блюдо, обла-

гороженное бесстрашной кулинарной выдумкой.

Жахнув еще полкружки, я смело допустил ноздрю к вдыханию аромата сваренных в уксусе амфибий — и ничего.

Только как-то печально стало на душе. Безотчетно и безысходно печально. Думалось о собственном сиротском детстве и даже показалось, что вкус лягушачьей лапки напоминает вкус лапки цыпленка, трагически отставшего от родного выводка и одиноко проблуждавшего целый день в непроходимой болотистой местности по душераздирающе худенькие, невозможно угловатые коленки в ржавой жижице.

— Почему все ж таки все так устроено на Земле, что одно живое существо поедает другое существо, бывшее только что живым, а картошка, которая никого не жрет, но которой все питаются, вырождается в дегенерата? — нарушил минуту ритуального молчания Степан Сергеевич.

— Юкин, я тебя умоляю: ну не инакомысли ты хоть в эту минуту! — взмолился участковый. — Ну какого ты хрена отягощаешь страсть народа выпить и закусить упрямым своим инакомыслием? Дай хоть лапку как следует обсосать. Без тебя в душе — столовская горчица, в уме — уксус сплошной. Советская власть — это одно, а культура выпивки — совсем другое. Если покочумаешь — сообщу тебе на закуску одну сугубо государственную тайну. Клянусь погонами.

— О'кей. Пардон, — с неожиданным смирением сказал Степан Сергеевич, который, подумалось мне, конечно же нахватался разных словечек в дурдоме от тамошних образованных обитателей — инакомыслящих полиглотов. Правда, он тут же добавил: — Ты запомни раз навсегда, португепя, что Степан не инакомыслящий, а свободомыслящий, едрена бабка, крестьянин. Это твой Брежневилла с политбюро мыслят иначе, чем народ. Мы же отчаянно свободомыслим, хоть жрем самого нище, безбожники адские, и вскоре, видимо, пропьем авансом всю остальную нашу бедственную историю... Помянем, что ли, Жеку.

Мы жахнули еще и еще за помин погибших в этой афганской бойне, примыслившейся, к несчастью народному, каким-то бесчинствующим и слабомерцающим партийно-полководческим мозгам в ихних железобетонных кабинетах.

И сивуха, надо сказать, вновь сделала свое дело. Дух общего, пусть даже временного здоровья воцарился за нашим столом. Не весельем застольным прониклись мы, нет. Но каждый из нас, уняв головоломность тревожно-мнительных мыслей и внутренне несколько собравшись, — каждый из нас готов был упрямо и весело противостоять дальнейшей неизвестности почти во всех областях личной и общественной жизни.

Должно быть, походили мы на подзаморенных в бою рядовых богатырей, благодар-

но подкреплявшихся в полевых условиях всем, чем бог послал, и вновь готовых устало втянуться в дальнейшее затяжное единоборство с какими-то нетопырствующими фантомами нелепой нашей Системы.

Вон, думалось мне тогда под балдой, повсеместно, систематически и принципиально очерившись, не допускают призраки эти ни крестьянина, ни негоцианта, ни строителя, ни шалопайствующего певца красот Творения к источникам достойного труда и нормальной жизни...

Участковый потянулся было за последней в миске лапкой, которая, казалось, шипела и пузырилась, словно кусок карбида в лужице — такой гремуче-острой была уксусно-горчичная приправа к нашей закуске, — но Федя остановил дерзкое движение его властительной, в здешних масштабах, руки:

— Последняя ляжечка — гостю.

Я деликатно дал понять, что вовсе на нее не претендую.

— Пусть администрация доживает окружающую среду, — великодушно сказал Степан Сергеевич и подвинул миску с остатком закуски участковому. — Что у нас сегодня на третье?

— Смертельное пике
на муху в кислом молоке,
а также отрыжка болотом
с жестокой изжогой
и кишечным переворотом, —

сказал Федя и добавил, обращаясь лично ко мне: — Не думай, что курей мне на закуску жаль. Жаль мне, к слову говоря, все сухокашающее, небоносимое и водоплавающее. Но с жабой мы, вишь, враз управились.

Лучше удавиться,
чем обдирать тощую дичь
в такую жарошу.
Легче детский галош натянуть
на взрослую голенищу.

— Го-ле-ни-ще, — не преминул поправить участковый. Федя как бы замер в стойке: спорить или нет? Затем высокомерно заявил:

— Ты преследуй свободу и взятки дери, а де-ре-вен-ский стих не ре-гу-ли-руй. Тебе, мудило, ведомо, что есть рифма?

— Я, Федя, по русскому с литературой надежды подавал и жил даже с нею, то есть с училкой, в третьей четверти десятого класса.

— Видим, чему она тебя, остолопа, обучила. Ну что, есть рифма?

Участковый, начиная слегка заводиться, ответил:

— В зависимости от анапест-дактиля бывает рифма мужская, бывает и женская.

— Хоть ты — городской, но необразованность у тебя деревенская, — сказал Федя, ко всему прочему еще и подкрепляя точную рифму удачным каламбуром. — А я тебе скажу так:

Рифмы — есть самостоятельные

и совсем чужие друг дружке слова,

которые вдруг полюбовно сошлись
и живут в стихе, как под крышей, —
под неким одним уютственным звуком.
Иногда рифмы слетают ко мне,
как птички.

Иногда вся эта мутота — скулеж души
и сплошное ее хождение по мукам.

Понял? Придумай, например, рифму к слову
«мужчина».

— Это, конечно, баба, то есть женщи-
на, — умственно натужившись и с большой
убежденностью сказал участковый. Мы захо-
хотали. — Но на лужке у Большого театра я
педрильников не раз вылавливал. Эти петухи
друг с дружкой зарифмовываются. Таково
тухлое влияние города на секс любви.

Мы продолжали хохотать. Участковый на-
бычился, несмотря на подобострастное отно-
шение к владельцам спиртного. Еще секун-
да — и он чуть было не настроился на лад
непредсказуемо служебный.

— Ну, Портупей Наганых, ты там, по-
мнится, насчет справедливости обмолвил-
ся, — сказал Степан Сергеевич, разряжая ат-
мосферу подпития. Участковый уже попра-
вился, видимо, так, в общем, удачно, что лич-
ность его снова враз возрадовалась внезап-
ному шансу на застольное самовыражение.

— Есть справедливость, Степ, есть. Про-
падаю я в том поносе глиняном Конькова-Де-
ревлева, как танк фашистский в смоленском
бездорожье. Ночью один раз, на Седьмое но-

ября, ловлю алкашей за рулем. И я и они довольны. Трешек, полтинников и даже стольничков мне уже девать некуда — все краги забиты и голенища... Оба я имею в виду голенища... Мне ведь за аборт надо платить без боли сразу двум дамам сердца и на какой-то Фонд мира невозможно вымогает начальство. И вдруг — это враги мне подстроили, Степ, уверен я в этом — проваливаюсь вместе с Коломбиной, то есть с мотоциклом, в неогражденный котлован. У нас ведь даже провалов огородить не умеют. Вылезти не могу — края ямы обледенели. Торчу там, верхом на мотоцикле и в густоте поноса новостроечной глины, понимаешь, как эта самая Башка в шлеме Руслана и Людмилы. Все, думаю, пропало мое злополучное хозяйство — отморожу органы любви, свободы, равенства и братства. Чувствую себя буквально никем не выкопанной, одинокой картошкой, оставленной народом в осеннем поле. А советский человек нового типа? Что он, в смысле морального кодекса? Он подъезжает — я ведь палкой машу, рукой голосую и в свисток свищу, вроде Соловья-разбойника, — он останавливается, видит мента, от смеха усирается, пальцами в меня тычет, разит от него за три версты, даже фотографирует издевательски и со вспышкой, но руки помощи не подает, пропадлина гуммозная. Понимает, что я его руки ни в коем случае уже не выпущу. Попал мент из князи в грязи? Ха-ха-ха!

Лимита одна даже компашку свою тамбовскую привезла на меня покнокать. Но я хоть несколько частниковых номеров зафиксировать успел в мстительном уме. Они у меня, крысы, потом попрыгали в мышеловке — у-ух, бля буду, попрыгали. Грязь с сапогов слизывали, чтоб только права отдал обратно. Ладно. Кто, ты думаешь, руку подал мне в конце концов? Ихний брат, Степ, и евонный соплеменник. Наклоняется надо мной, языком не ворочает — того и гляди башкой очкастой вниз нырнет в бесхозьяственную грязищу нашей братской могилы. Еле-еле, но помог. С ног валится, песни мычит, а машину свою задом подает, цепляет меня за портупею тросиком, выдергивает с третьего раза из ямы. Хрен ли, Степ, вы тут дыбитесь? Деньги все мои в голенищах промокли, а из краг много капусты в глину выпало. Я сажусь в чем был за его руль. Едем к... попробуй, угадай, как звали того чувака и его жену? Не угадаешь. Так вроде и не бывает, но было. Век не угадаешь рифму, которая мне тогда выпала. Ну, там меня обмыли, простирнули, бабки в духовке высушили. У них все уже собрано. Ящики, чемоданы, авоськи. Линяют в Штаты. Я говорю: не линяй, Руслан Консон, пропадешь там со своей рязанской Людмилой к едрене матери и с непривычки. Поедем, говорю, летом под Ельню, я там свой человек в ци-та-дели Глинки. Дня на три арию помирающих лягушек затынем, я тебя теперь дру-

жеской рифмой своей судьбы считаю и с другими рифмачами познакомлю — поквакаем... Подсушили меня там. Вызываю одного знакомого бульдозера. Тоже был пьяный, но мотоцикл мы вытянули из глины сучьей. Втащили на первый этаж. В ванной обмыли теплой водичкой, а то бы было смешно в отделении. Смеха над собой не уважаю... Ну, много о чем мы в ту ночь потрекали. Подруга Людкина, конечно, пришла — Юдифь, и я успокоился тогда в ее объятиях, чтоб заодно не простыть от переохлаждения. Скажи, говорит, — она меня Олоферном почему-то звала — одно только словечко, и я целый век от тебя из этой вот постельки никуда не уеду. Но я сурово и трагически отвечаю, что, к сожалению, принадлежу всем дамам вместе, но ни одной из них — в отдельности... Потом я спасителя моего бесстрашно провожал в Шереметьеве, на глазах гэбни поганой. Носильщиками обеспечил, а то эти гондошки рваные посуду назло перебили бы, крысы багажные... Смотрю, тот самый Аркан Юрьевич — он в отказе пыхтел — тоже провожает моего Руслана Консона. Пузырек шампанского давали на прощание... Сионизм мне тоже потом попомнил ебаный всевидящий глаз и всеслышащее ухо начальства. А ты, Степ, говоришь, враг всех народов, тогда как все мы — сами себе враги окаянные. Сами, сами и сами...

В наступившем вдруг молчании нашем невидимо заклубились какие-то враждебные

вихри. Невидимки эти всегда стараются воспользоваться зловредно вызревающей неудовлетворенностью либо перезакусившего, либо перепившего человека. Стараются издевательски накрентить его поближе к какому-нибудь безобразию.

Степан Сергеевич окончательно приковал вопрошающий взгляд к собственному кулаку, как бы стараясь подобраться с его помощью к ответу на самый основной вопрос жизни.

Участковый, словно пассажир, не желающий вывалиться куда-то из транспортного средства, попавшего в зону опасной тряски, обеими руками крепко вцепился в ремни собственной портупей. Очевидно, он переживал перипетии подлого крушения карьеры и одновременно пытался установить дерзко ускользавшее от ума значение кулака деревенского диссидента, обклеенного черной кожурою.

Наблюдая за участковым, я не мог не заметить, что к оружию своему он относился с глубоким внутренним лиризмом и с необыкновенной родственностью, словно в кобуре его покоился не револьвер, а спящее невинное дитя. Заговорившись, задумавшись или прислушавшись к благоприятным действиям сивухи в организме, он вдруг, неведь что вообразив, аффективно, по-матерински спохватывался и хватался за кобуру. С большим облегчением вздохнув и погладив ее, он вновь отвлекался к болтовне и подпитию. При этом он и вправду походил на любящую мать, ко-

торая — исключительно из-за своей непредсказуемой шалавости — вполне может вдохновенно выпорхнуть на площадь, забыв коляску с ребенком в пивном зале...

На лице Феди — оно просто почернело уже от ежедневных поминок по брату — был страх перед приближением неких ужасных видений, но вовсе не мольба о избавлении от них. Наоборот — яснейшее было сознание, что нету на Земле сил, способных от них избавить. Должно быть, душа Феди смертельно устала, уверяясь каждый раз, что все это не прошедший, жуткий сон, что все ж таки не пронесло, но что невыносимый ужас случившегося был, он есть, он всегда будет... Вжик — летит в пропасть с бесчувственных камней каких-то отдаленных и чуждых всей бывшей Смоленской губернии гор Женькина, брательникова, бедная голова, и брызги братской крови моросят.. моросят.. моросят перед безумными глазами, но боль того дикого ужаса и ужас той дикой боли не разрешаются в спасительном — как в удушье тягостного сна — крике, а вцепляются когтями прямо в сердце — остро жмут, сволочи, разрывают целое человеческое сердце на рваные куски, и какой обывательствующий небожитель терпеливо и по кровотокающим частям теперь его восстановит в счастливое целое?..

— Федор, — обратился я к товарищу по беде народной, чтобы начать отвлекать его от

состояния страха, — благодарю тебя сердечно за такую отменную хаванину. Помыслить не мог ни о чем подобном в скучном рационе дней. Квакаю от удовольствия. Спасибо... ы-ык... ы-ы-ык... но отку... ды-к... откуда так-ак-ая иноземная традиц-иц-ия?

Федя, слава богу, отвлекся, засмеялся, тоже отрыгнул жжение пламенного уксуса со зловонно-огненной горчицей и сразу жизнелюбовиво отдался жажде отвлечения от своих невыносимых видений.

Передаю его великодушно развернутый ответ на мой вопрос, то есть речь его я передаю без каких-либо самовольных сокращений и полностью сохраняя самобытный ее ритм.

Рифмовал, кстати говоря, Федя бессознательно, как это бывает с натурами одаренными, но дара своего культурно не развивающими. Подобные натуры лишь чувствуют реальное его присутствие в себе и жажду соответствия ему в минуты истинного вдохновения, когда заключенной в нас художественной силе оставаться наедине с самой собою становится почему-либо невмоготу. Вот его повествование.

Это у нас от Наполеона еще осталось.

Кутузов, когда отступал, сжег

на хрен весь хлеб

и вакуировал курень со скотиной,

чтоб врагу ничего не досталось.

Не желал он, чтоб русский с французом
сшиблись решительно лбами.

Народ это дело переживает.

Сидит народ на картошке и шах с грибами.

Старики печально побздехивают на печках,

потому что все науке известно

насчет вечного брожения бздо во шах.

Тут французы пришли. Нигде цыплят

не нашли.

Нечем им, вроде нас, закусывать красное

и белое вино.

Один офицер ихний балакал слегка по-русски.

Это, говорит, не война и не гастрономия,

а обыкновенное варварское говно.

Наш император, даже отступая,

наоставлял бы наступающему врагу

благородной выпивки и почетной закуски.

Французский, говорит, офицер —

не крепостной мужик.

У него должен торчать, почти

как гренадерский штык.

А при отсутствии надлежащей закуски

разве кого удовлетворишь по-нашенски,

по-французски?

Дикая, дикая, варварская страна.

Разве это красивейшая египетская баталия?

Это — просто отвратительная,

неблагородная война,

бесхозяйственный бардак и так далее.

Но тут подходит к тому офицеру

каптенармус Жак,

который, как написано в истории

для четвертого класса,
закусить и выпить был не дурак.
Подходит и подносит офицеру тому
чугунок на ухвате.
Тут такая сытая вонища
распространилась по хате,
точно картошки нажарила баба
с салом и лучком.
Офицер глаза от удивления выпучил.
Чубчик у него на голове — ажно
привстал торчком.
Это, короче говоря, были затушенные в
провансальском масле
задние дрыгалки местных наших
болотных жаб.
На следующий день собрал офицер
в колхозном клубе
всех стариков, пацанву и молодых
солдаток-баб.
Всем, говорит, приказываю выйти срочно
на заготовку
лягушек и больших лягушат,
пока не наступила русская зима.
Тут поднимается на трибуну
толстожопая Авдеиха —
староста и моего прапрапрадеда
замечательная кума.
Наполеоновская, говорит, шатия
и партобратия
принесла нашей Родине одни мучения
и проклятия.
Заявляем, несмотря на угрозы

со стороны штыков и пушек,
что сроду не жрали мы тут ни мышей,
ни тараканов,
ни тем более каких-то сопливых лягушек.
У нас от них по всему невинному телу
выскакивают

шершавые бородавки.

И ни одна русская душа не выйдет
на подобные заготовки.

Хоть загоняйте всем нам под ногти
французские ваши булавки,
хоть даже наставляйте вы на нас

одноглазые мортиры
и двуствольные винтовки.

Ну, наполеонов офицер, как известно,
не германский —

в отношении к дамскому полу — фашист.

Пять минут прилипал он к Авдеихе
как банный лист.

Десять минут он руки ее крестьянские,
задыхаяся, целовал.

Затем сорвал с погон аксельбанты.

Ручку жареным кренделем захреначил.

Рандеву, говорит, объявляется —
пройдемте на сеновал...

Федя сделал паузу. При этом выражение его лица было в высшей степени деликатным и даже, я сказал бы, благоговейно-предупредительным, то есть истинно культурным — лицо человека, вынужденного в силу известных обстоятельств любезно оставить в оди-

ночестве, скажем, парочку резко сблизившихся в дороге соседей по купе и на цыпочках удалиться перекурить в вонючий тамбур экспресса Смоленск — Воркута.

Он достал сигарету «Дымок» из такой смятой, измордованной и грязноватой пачки, что сердце у меня враз почему-то сжалось от сострадания к типично советскому, то есть бездарно-бескачественному, состоянию формы и вещества ничтожного этого, в сущности, изделия.

Федя закурил. Как художник истинный, пусть даже несколько не осознававший своего натурального таланта, он пребывал в ту минуту в милом мире старинного времени, чудесно возвращенном кровотокащей его душе восторженно-восторженным воображением.

Ни нас, ни всей печальной колхозной действительности, ни собственной его сегодняшней судьбы, из которой безуспешно старался Федя вытравить сивухой адское горе, для него как бы вовсе не существовало в пространстве той паузы.

Губы его, почерневшие от пьяни, посвежели вдруг. Но улыбка, оживившая их, не была инфантильно скабресной, какой бывает она на лицах почти каждого из нас, когда мы порочно, то есть с хищной грязью в уме, смакуем то, перед чем следует душе замирать восторженно и благодарно.

Нет — в улыбке пьяненького нашего собутельника и рассказчика была божественно

веселая снисходительность, чистейшее благословение двух живых существ на случайное любовное свидание и вообще ревнование всякого такого нормального дела к чему-либо двусмысленному.

Затем Федя щелчком отбросил окурок «Дымка» в огород. Участковый проследил за траекторией и падением того окурка на грядку закосевшим, но привычно осуждающим взглядом.

— Я кидаю в землю органику, — так и взвился Федя, — а ты, болтают, взятки с председателя берешь за сокрытие слива говенной химии в Жабуньку. Оба и засираете священную Смоленщину. Неорганические поросята, понимаешь...

— У каждого из нас свое имеется место в заколдованном кругу Системы, а вашим инакомыслием природе не поможешь. Вот вы вдвоем только лодку на моем участке раскачиваете. Не рас-ка-чи-вать... Наливай, — нелогично воскликнул участковый после своей невнятной реплики.

Для Феди все это было мелким шумком в зрительном зале. Он продолжал, никому не налив:

— Потом, значит, выскочил офицер
оттедова, с сеновала,
без галифе и рылом, как рак, распарен.
Я, говорит, большое получил удовольствие
и понимаю,

Превратил он наш жабунькинский сельсовет
в публичное заведение, то есть в бордель
тет-а-тет.

Он мордатых полицаев расставил
на каждом шагу,
чтобы мы о политике Бонапартовой —
жаме ни гу-гу.

Он себе в баньке с бабами парится,
он себе дрыхнет на печке до самого рандеву.
Наутро опять супостата отпаривают
березовым веником.

Плевать ему и на своего обосравшегося
императора,
и на родную спаленную нашу Москву —
фактически становится он кавказским,
то есть ельнинским амурным пленником.

Но старый хрен Егорыч
делал соответствующие втыкания
всем слабобдительным деревенским дурам,
чтобы не предавались они в такую
военную кампанию
противоречивым, фотографическим фигурам.
Чтобы не дозволяли себе, курицы,
заморского купечества.

Чтобы не сладострастничали эти гадюки зря,
а ложились бы преданно на алтарь Отечества
и отдавали бы радостно всю свою жизнь
за Царя..

Затем весь народ вышел на поголовную
заготовку
и стратегическую засолку лягушатины,
чтоб до прихода царского войска совсем
не подохнуть.

Зима, как известно по истории партии,
была такая,
что ни бзднуть от души, ни характерно
для русского человека охнуть...

Ну, что еще?

Потом Бонапарт отступил очень позорно,
оставив нашей деревне свое чужеземное
наследство.

Вылупились вскоре пацанята с криком:
спасибо Наполеону за наше счастливое
детство!..

С тех самых исторических пор
мы, официально выражаясь, стали
Жабунькой.

Гоним фрамбуаз из картошки.
Историцки выпивая, тоскливо, бывает,
квваем.

Ну и об Отечественной войне
реалистицки, так сказать, балакаем.
По наследству же от тех самых офицеров
и солдатов

в Жабуньке нашей так называемая культура
половых отношений
сохраняется, как в Париже,
на уровне самом неимоверно высоком.
Я лично в валенках на бабу свою никогда
не залажу,

я слов ей поначалу натрекаю,
я ей, птичке, каждое перышко ласково
разглажу,

то есть по-человечески я ее преуведомляю,
пока вся она, понимаешь, не изойдет,

пока вся эта мадмуазель не нальется,
словно яблочко белый налив,
березовым, так сказать, соком...
Ну, чего еще?
Мы, конечно, всех некастрированных бычков
называем каждого или Бонапарт,
или Амур...
Только ни Амуров, ни Наполеонов в колхозе
у нас
ни одного, мусье, не осталось.
С окончательным развалом сельского
хозяйства
у нас, как говорится, всегда тужур.
'Эх, доплясалась ты на сопках Маньчжурии,
родная Смоленщина!
Наконец-то ты тангов и гимнов
вприсядку у нас доплясалась!..
Благодаря заботе коммунистической партии
положения не может быть жутче.
Вот что сказал по такому же поводу
великий Тютчев:
В колхозе нашем «Красный колос»
дела давно уже в пизде.
Лишь паутины тонкий волос
блестит на праздной борозде...

— Насчет борозды и пьяной праздности — полностью согласен! В остальных обвинениях не вижу никакого реализма и резко возражаю! — страстно воскликнул участковый, но Федя, смерив его взглядом аристократичным, то есть скромным, однако ж пол-

ным значительного превосходства, продолжал:

— Что касается лягушатины,
то мы к ней давно уже историцки привыкли.
Хотя обвиняемся ин-тел-ли-ген-ци-ей
в повреждении окружающей среды.
А чем прикажете, судари, закусывать,
если в сельпо —
ни трески, ни бельдюги, ни даже
беленьких глазок
от мельчайшей килечки,
хрен ли говорить о благородной пикше.
В такой горестной ситуации
все ваши лекции — нам до лампочки
и до кутузовской, фельдмаршаловой ялды...
Ты, Писулькин, когда жахаешь-квакаешь,
должен каждую костоньку,
на французский манер,
обглодать, хрящики обсосать,
а беленькое мясо помакать в уксусе
и в горчице.
Лягушати́на — это тебе не ржануха.
От нее в нашей деревне до самой пенсии
у колхозника штык торчит, а ночью
изжога не мучит
и жаме, как говорится, не бздится...
Насчет этого дела в нашей Жабуньке
всегда жаме...
А с чегой-то, уважаемые мусье, повело
меня вроде...
с чегой-то начинаю я, видимо, ни бэ ни мэ...

Федя выпал в отключку так внезапно, что мы перетрухнули: не сдало ли у него сердце от горя и бесстрашного напряжения художественной самодеятельности? Но он, слава богу, подетски посапывал, тихо набираясь душевных сил для дальнейшего существования, и похож был на усталую лошадь, опустившую голову в мирную тьму бадьи глубокой; похож он был на смиренную лошадь, припавшую счастливою губою к несравненному чуду воды, совершенно бесшумно, совершенно молитвенно и совершенно своевременно ублажающую на водопое свои живые внутренности и никак не желающую прерывать утоление очередной жажды.

— Наливай, — сказал весьма подзабалдевший участковый Степану Сергеевичу. — Жахнем за весь протокол задержания нашей героической истории и критическое, сам понимаешь, состояние действительности... но только я вам ни-че-го такого не говорил...

— Нам выдача некой тайны была обещана за уважение твоего ментовского режима без матюков. Выкладывай, тогда и налью, — сказал Степан Сергеевич.

— Ей-богу, выдам, но налей! Налей, говорят! Душа просит!

— Какая у тебя душа? Одна у тебя вместо нее кобура.

— Нет! В глубине той кобуры, то есть души, я — не мент. Я разрываюсь, если хочешь знать, между служебным долгом и тай-

ным .инакочувствием, Степ. Я знаешь чего, Степ, читаю? То, что на шмонах у вашего свободомыслия изымают. Психиатричка мне одна дает. Я с ней живу на партактивах. Наливай, а то, говоря в рифму, стрелять начну по воробьям, как царь-мученик Николай.

Степан Сергеевич, смилостивившись, разлил всем еще по полкружки.

Мы жахнули и занюхали адский миазм принятия весьма запыленными листьями смородины, растертыми в наших пальцах, у которых был — так мне, во всяком случае, показалось — вид задумчивый и удрученный.

Ах, как вдруг вознесло меня тогда над тяжелой непонятностью общей жизни дивное сияние в безвоздушной ноздре черносмординового духа. Как сам тот день — милый, пропащий и жалкий денек опохмелки — преобразен был в чистое облако душевного здоровья неисчислимо малым количеством молекул личного запаха какого-то запыленного листика.

Растворилась вдруг в словами не отверзаемой тайне этого запаха, словно в небе или в океане, безобразная скверна сивухи, и волшебным каким-то образом сообщена была нутру моему, вернее, всему моему существу, травимому моей же грешной волей, простая надежда.

И с какой, если бы знали вы, сладчайшей, неутоляемой, любовной, многозначительной тоской подумалось мне о натуральном запахе

невидимых молекул терпкого, в пальцах растертого листика черной смородины — запахе, воспринимаемом благодарной ноздрей и столь чудодейственно вызываемом в памяти внезапным помышлением.

И как-то само собой, но именно в тот самый миг потрясло меня захватившее дух и пронизавшее вдруг всю мою расстроенную плоть чувство совершенно простой явности нашего Богоподобия.

Это было так просто, как, помыслив о яголке, ощутить на языке и в гортани ее неповторимый вкус и запах. Или же, как, выкладывая на столе головоломную картинку высшей сложности, скажем, *Подлое искушение Адама в райском саду* (из серии «Основные вехи грехопадения человека»), случайно, после долгих и безуспешных поисков, напороться на ячеечку для кусочка картона с одним из кончиков языка сатанинского змея.

Вдруг мне даже не поверилось, что случайное соотнесение такой ничтожной, временной частички Вселенной, какой являюсь я в собственных глазах, с Тем, Чьей Волей сотворена была — **в целом** — вся эта необозримая Вселенная, могло произойти столь просто, причем в одном из, казалось бы, напроць забытых Богом закоулков российского пространства.

И явилось ко мне это чувство явной с Ним соотнесенности — вот что самое главное! — в путанице мыслей и как бы на са-

мом краю беспроглядной, угрюмо смущающей ум и бередящей душу бездны — бездны, как бы совершенно отвергающей жалкие наши частные, пьяненькие, потерянно мельтешащие облики от невообразимо бесконечного целого.

Господи, взмолился я в трепете счастливого неверия в явность свершившегося чуда, Господи, неужели Ты отыскал в Твоей Вселенной и меня, и моих замечательных собутельников, и эти косточки лягушек, и Твой Дар, не закопанный Федей в землю, и ветхие дощечки в штабельке, и провода, воровски вытягивающие в рваную спиральку плитки Твои собственные электроны из Тебе принадлежащих природных веществ, и кальсоны вон те, которые на веревочке сушатся, и ласточку, стриганувшую в театральную ложу гнездышка под наличником окошка, и ошметки картофельных мундиров — неужели, Господи, отыскал Ты нас и уютно помещаешь теперь слабых людишек вместе со всеми их вещичками, вместе с их временем и пространством туда, куда следует?

Не есть ли мы — Твоя Память о Самом Себе, хотя что же мы сами с собой выделяем и как мы сами себя с отвратительным бесстыдством обезображиваем, как распадаемся, Господи, если тем более Ты в нас во всех запечатлен, — не так ли, как загадочно запечатлен состав молекулки черносмородиновой в памяти трезвого, а то и поддатого мозга?

Вот интересно, почему-то подумалось мне, постоянно ли видит Господь перед Собой всю Свою Божественную Головоломку, все частички бытийствующей Вселенной собранными в **целое**? Или пока только собирает-возвращает Он их все терпеливо и вселюбовно в загадочную даже для Него Самого картину Первоначального **целого** — по бесчисленному количеству миров, различных образов, отделенных друг от друга вариантов жизней, по планетке, по лягушачьей косточке, по молекулке, по бедным нашим душам, по черной дырочке, по смородиновым ягодкам? Вот ведь как хорошо и интересно! Вот ведь ты, мелочь хмелеющая, вспомнишь вдруг ни с того ни с сего, скажем, посреди асфальтового ада городов, шум одновременного прикосновения мириадов дождинок к картофельной ботве в надземной части огорода и пасленовый ее душок, а мог бы вовсе и не вспомнить, — вспомнишь, и живет в тебе в тот миг вся эта прелесть в смысле, может быть, более истинном, чем мимолетно живешь ты на глазах у самого себя...

Господи, не есть ли Жизнь — красота никогда не прекращающегося Твоего собирательного воспоминания, где каждому камешку есть место, где птице и траве жить намного легче, чем якобы разумному человеку в удручающей этой Истории? Как так получается, что то ли мы Тебя то и дело забываем — если совсем не вытравляем из па-

мяти, — то ли мы не так уж часто попадаем Тебе на глаза в общей, обширной картине Творения? Рассмотря Ты нас, Господи, что ли, собирай нас немного почаще, ломающих головы над самособиранием себя в Твое целое, не обрекай на бесконечную нескладуху-неладуху...

Я замер от неожиданного душевного вознесения, смутно, но совершенно непонятно почему предчувствуя какой-то благоприятный скрип и начало оборота колеса всенародной фортуны к лучшему.

Участковый тоже, очевидно, переживал подобное состояние. Смородиновое волшебное снадобье и его возносило над самим собою. Он еще крепче, словно парашютист, вцепился обеими руками в свою нелепую, времен гражданской бойни, портупею и, подчиняясь неведомой возносящей силе, резко встал из-за стола.

Встал и с таким выражением на лице, с каким безвозвратно сигают в пропасть или жгут за собою все мосты до единого, выдал он нам свою государственную тайну:

— Тс-с... Там, наверху, начали ждать. Ленька вот-вот врежет дубаря. Он уже ширинку с галстуком путает, а вместо ордена Победы слюнявчик вешает.

— Тайна, бля, — саркастически скривился Степан Сергеевич. — Стакашок конского шампанского с желтой пеной — красная цена такой тайне.

Участковый был так почему-то взволнован, что не обратил внимания на не совсем, на мой взгляд, корректные именно в тот момент подьбки. Он продолжал разглашение «тайны».

— Как только врежет он, значит, дуба — с ходу решено увековечить все говно нашей эпохи и в дальнейшем именовать его засто-ем... Дано будет «добро» на всеобщее покаяние и решительную перестройку... Землю получите в свои руки... такого не было с семнадцатого года... данные у меня, гад буду, прямо из Кремля... так что — наливай!

— Это за что ж тебе наливать? — спросил Степан Сергеевич.

— За эти оптимистические данные. Их даже в Москве никто еще не знает.

— Параша, — сказал Степан Сергеевич. — На дурдом ты уже натрекал сполна. Но никто тут на тебя не стукнет. Чего ты опускаешься до фуфла ради стакана самогоня? Лучше велосипедизируйся и мотай в сельпо. Там у них всегда есть заначка для ревизии подприлавочного блядства.

— Степ, это — не параша. Скоро все к покаянию двинемся в район, а может, сгношим такой прогрессивный рывок на месте, в сельсовете, чтоб порядку больше было. Само собой — развитой наш тухлый социализм превратим с ходу в свободный рынок. Упирайся. Торгуй. Гуляй. На червонце золотом «цыганочку» бацай. И-и-ех, чаве-ла... Наливай!

И не дрочи органы, — очень тихо сказал участковый. — Не унижай жалкий нерв моей страдавшей слабости. Я вам тут интимную тайну выдал. Не параша все это, поверь, не параша. Мой человек в Кремле гонит чистый верняк.

— Говори: кто таков этот шишка? Тогда налью. Не бойсь — не продадим.

— Официантка обедов и банкетов самого верха. Их там в верхах тоже достало. И они, Степа, по галстуки в говне, то есть в застое эпохи. Не только мы с Жабунькой. Всем нынче светлое учение поперек кадыков встало. На том банкете, Степа, человек мой не травит, на том банкете один *туз* — он, видать, и первачом, то есть генсеком, будет — налопался, заплакал, что, говорит, наделали мы, товарищи... Оказывается вдруг, ежели верить бухгалтерии поступательного хода истории прогресса, что не к коммунизму мы маршируем строевым шагом, а по-пластунски к вокзальному сортиру корячимся. Оттедова нас могут ой как захреначить в «столыпинских» на пересылку адского кризиса. И рыла наши, говорит, вовсе не в блистательном снегу вершин, а в подножной, сортирной харкотине, потому что время скурвилось на пару с поступательным ходом истории и начали оба эти предательских фактора работать не на нас, суки такие беспредельные... Вот каким оптимизмом попахивают дела и делишки в полной засранности нашего застойного марксистско-ленин-

ского пространства... Ты, Степ, верно кричал тогда, извини от всего сердца, что руки я тебе скрутил слишком туго, в том смысле, что, если кухарки начинают руководить государством, то вся страна превращается в кормушку для жуковатых тараканов, а на кухне, в кастрюлях и сковородках, — хер ночевал в волосатом, жирном фартуке... И этих слов, Степ, я не донес до истории твоей болезни, потому что и сам мыслю даже на службе не протокольным макарон... Пожалуйста, налей, прошу тебя еще раз неофициально, Степ. Не вырывай ты из моего хлебала воздушный шланг надежды на поправку к лучшему.

Произнеся довольно складно столь длинную тираду, участковый дышал тяжело и даже затравленно. Я потянулся было к бутылке, но Степан Сергеевич — он, кстати, внимая неслыханному откровению и униженной просьбе своего врага, успел сколупать с кулака картофельную кожуру, — Степан Сергеевич остановил чистосердечный мой порыв.

— Ты в тот раз обещал, что сыграешь со мною лично в игру РУРУ, про которую сам же и натрепал, если тебе нальют? — спросил он беспощадно участкового.

Участковый признался подавленно и предельно честно, что, выпив в тот раз еще стакан, он неожиданно почувствовал дальнейшее уважение к жизни и решил, что игра в РУРУ есть дело бесперспективное, после ко-

того никогда нельзя будет с удовольствием опохмелиться.

— Поскольку русский человек, особенно пьющий, должен во что бы то ни стало иметь уверенность в завтрашнем дне, — довольно разумно, но с некоторым трогательным лукавством втолковывал участковый и себе, и Степану Сергеевичу, — и не только в своем собственном эгоизме завтрашнего дня, хрен бы с ним в конце концов, но и в том должен иметь уверенность русский человек, что даже инакомыслящий Юкин сможет встать, опохмелиться чем бог пошлет и ожидать с веселою надеждой в душевной жиле организма окончательно бесповоротного образумления родной партии и правительства.

В своеобразном последнем слове участковый снова крайне униженно попросил смилостивиться и налить ему, не дожидаясь какого-то резкого ЗСП.

— Впоследствии я понял, что он корректно грозил злоупотребить своим служебным положением.

— Слово есть слово, — сказал Степан Сергеевич с такой устрашающей трезвостью в голосе и с таким упрямым выражением лица, что я и сам совершенно вдруг отрезвел, как от холодного вихря опасности, овевшего наше жалкое, беззащитное застолье. — Доставка «дуру», возвращай благородно должок, я стрельну, как и выпало мне в тот раз, пер-

вым — испытаем давай взаимно судьбу нашей жизни, потому что мы ведь не живем, а говно куриное ногами месим, хотя начальство давно их у нас из тощих жоп повырывало, как из подопытных, еще раз подчеркиваю, лягушек.

— Ты вот выстрелишь, с тебя, как говорится, как с гуся вода, а меня судить будут за соучастие в пьяном самоубийстве и из органов пошарят, где я есть натуральный придурок и сравнительное лицо, то есть фигурирую. Давай, лучше я первый в лоб себе шмальну халатно, а ты, в случае чего, сам все это расхлебывай. Ты — невменяемый. Тебе ни хрена ничего не будет. Пошнуруешься в психушке — и снова на воле. Игра есть игра, и никому нету от нее страховки.

— Вот что, Анатолий, товарищ Сочинилкин свидетелем будет, что я, обнаглев, выхватил насильно оружие из кобуры, когда ты меня вновь повязывал, и покончил с собой навсегда. Доставай, говорю, «дуру». Продемонстрируем гордость крестьянской души, чтоб перед смоленскою нашей погибшей картошкой не было нам стыдно и перед Жекой, которому орденоед бровастый башку снес афганской саблей. Внесем, Толя, замечательную торжественность в невозможные эти поминки!

Участковый внезапно уронил голову прямо в миску с обглоданными лягушачьими косточками, притягивавшими, надо сказать, к

себе мой взгляд благородной белизной и природным изяществом строения.

Рыдал участковый так бурно и судорожно, что даже портупья скрипела на его сотрясавшейся спине, словно сбруя на запаренной кляче, из последних сил одолевающей тяжкий подъем. Рыдая, он всхлипывал, что плачет не от бздиловатости и окончательного алкоголизма, но от смоленской радости, что инакомыслящий Юкин, что Степа назвал его не ментом, а первоначальным именем Анатолий.

Не знаю, что произошло с душой этого человека во время рыданий. Но он успокоился столь же внезапно, сколь разрыдался. Отвлек голову от миски с косточками, глядя странно прояснившимся взглядом куда-то вдаль, поверх нас, поверх даже самого себя и всех прочих обстоятельств неприглядной действительности.

Ничего, замечу, безумного во взгляде том я не заметил. Наоборот — в нем отсутствовали снующие искры постоянной похоти ублажения хамского чувства власти. Крысиное это чувствико, как известно, тем тоскливей изводит всякую чиновную сошку, чем мельче и придавленной чует себя сошка эта в поганных трясилах отечественной нашей власто-сферы.

Промыт был также взгляд его от нервно-мутноватой неопределенности, точнее говоря, от непутевости, застилающей очи чело-

века, измученного, как бы то ни было, потерей душевного чутья и дара различения в жизненной мгле источников достойного спасения.

Непонятно что разглядев поверх себя и нас, участковый достал из кобуры револьвер. Крутя большим пальцем барабан — в каждом его щелчке слышалась мне, помню, какая-то зловеще завораживающая притягательность, — он подставил под выпадавшие патроны ладонь другой руки. Пересыпал их в карман брюк. Доверительно дал Степану Сергеевичу убедиться, что в барабане наличествует один-единственный патрон. Тот точно так же доверительно — в соответствии с тайно возникшим вдруг в их отношениях чувством чести, — рассеянно и как бы даже не совсем понимая, что именно происходит в данный момент времени, кивнул.

Тогда участковый заложил револьвер за спину, пояснив, что оружие это некогда принадлежало знаменитому врагу народа. Лицо его при этом стало совершенно детским, то есть наивно напыщенным. Такими бывают лица детей, польщенных прямым поручением Рока тайно разыграть жребий на жутковатой кухне Случая.

Затем участковый несколько раз крутанул за спиной барабан, как бы уставившись немного выпученными глазами прямо во всепроницательные зенки этого самого своего поручителя — Рока. Стасовав за спиною, так

сказать, роковую колоду шансов, он положил смертельное оружие на садовый стол перед Степаном Сергеевичем.

Несмотря на преступную абсурдность и житейский идиотизм замысла, все деловитые движения и жесты обоих игроков были в высшей степени сосредоточенными и даже как бы исполненными вдохновенной целесообразности.

Вместе с тем от всего их поведения различимо пахло безобразной, поистине дьявольской пародией на совершение какого-то внушенного свыше, абсолютно неотложного, то есть исторически необходимого — в пределах двух частных жизней, — дела.

Ужас парализовал меня. Но прекрасно помню, что в те именно минуты в пьяном моем, расхлябанном воображении и в смятенной памяти ни с того вроде бы ни с сего мелькнули бесовские кинообразы в кожанках и единорожьих шлемах с пятиконечными пятнами кровищи во лбах. Все передвижения их, мелькания, даже ничего не значащие реплики, жесты и разговоры, все действия их в коридорах и кабинетах несчастного Смольного исполнены были того же, как у деятельного участкового и примолкнувшего Степана Сергеевича, безответственного самоупоения.

То было — как, слава богу, я различил впоследствии — не вдохновенно любовное дозволение саморазвития бесподобных чудес

Творения, желанное не только Творцу всего Сущего, но осеняющее божественную широту весеннего жеста сеятеля, сердцеобразный мастерок каменщика, скрепительный гвоздь плотника и певчее перышко стихотворца, которое одержимо снует себе по всей Вселенной в поисках слов, разнесенных во все стороны Света при сокрушении каменного гнезда Вавилонской башни.

Нет. От фигур, мельтешивших в самом центре адской беды, выбранном, кстати говоря, Дьяволом — не без издевательского остроумия и страсти к полноте имитации — именно в Смольном за звучание в дивном этом слове торжествующего потрескивания и кипения штрафной смолы в котлах преисподней, — от бесовских этих фигур так же, как от моих собутыльников, несло поистине адским душком жутковатого апофеоза самоубийственной деловитости.

Я тихо, чтобы не потревожить спавшего Федю, попытался образумить обоих, но внушение мое только подтолкнуло Степана Сергеевича к совершению преступления. До этого он какое-то время со страстной гадливостью вглядывался во внешний вид оружия.

Взяв в руку револьвер, он взвесил его на ладони и усмехнулся в последнюю, быть может, минутку жизни как над дурацким своим действием, так и над напрасной попыткой соотнести ничтожный вес подобной вещи со зловецким ее предназначением. Может быть,

в уме его невольно мелькнуло сравнение этого преступного изделия с одним из милосерднейших плодов родной земли — с божественной картофелиной.

Затем он внезапно отвлекся от оружия. Думаю, что, оказавшись вопреки собственной воле во власти старинных чувств прощания и дорожных сборов, он бессознательно же заспешил. Правда, он торопливо и рассеянно огляделся вокруг, держа в руке револьвер...

Так оглядываемся все мы, стоя уже на пороге покидаемого жилища, и покидаем его, вынужденно махнув рукою на все, что было забыто в сумасшедшей спешке и за совершеннейшим, как нам кажется, неимением никакого лишнего времени — эх, мать твою так, что забыто, то забыто, и пропади ты все пропадом, со всем оставляемым прощаюсь одним махом, иначе — никогда не отвалить прочь, разьетит твою карету вместе с кучером в печальный облучок...

Рукою свободной погладил Степан Сергеевич валявшиеся на столе жалонькие ошкурки картошки, как гладят головку родного дитяти перед ужасным с ним расставанием навек. Пару раз сжал в кулак ладонь той самой, левой руки. Уставился на миг на костные останки лягушатины и снова усмехнулся каким-то то ли предсмертным мыслям, то ли по-смертным образам, мелькнувшим в торопливом уме.

Меня, при всем моем оцепенении и бессилии, не могло не поразить то обстоятельство, что одному из двух его шансов — шансу на удачу и, следовательно, спасение от дурацкой смерти — Степан Сергеевич, да и участковый тоже, как бы не уделяли ни малейшего психического внимания. Наоборот, в отношении их обоих к мрачному, смертельному шансу выпасть из круга жизни, в странном отношении их к как бы заведомому преимуществу этого погибельного шанса над шансом спасительным наблюдался момент слепого и безраздумного ритуального поклонения...

Точно так же вот — никак не могу пренебречь этим наблюдением — отечественные наши, остолопствующие лакеи и ординарцы палачей, почему-то считающие себя памятливymi патриотами, и по сей день приникают устами не к источникам спасительной надежды, но вылизывают штиблеты генералиссимуса, замызганные по самые лямки народной кровью и остатками плоти нормальной жизни, вживую разодранной злодеем на куски и безжалостно им растоптанной.

Почему окровавленная штиблетина палача, то есть безобразнейшее из всех возможных облиций насилующей Смерти, притягательней для них образа достоинства Жизни России, с муками вопиющей к восстановлению в живое и прекрасное целое из пылинок вроде бы начисто развеянного праха?

Почему столь нетопырски сопротивляются они достойному складыванию человеческой Жизни в нормальное целое из того, на что была она, повторяю, разодрана, перелицована, измордована, многожды перекроена, растерзана и расколошмачена обеими — ленинской и сталинской — смертельными гвардиями, — из кожурочек сиротского земледелия, ошметков поруганного права, кусков труда, жилочек собственности, осколочков искусства, лоскутков веры, любви, надежды?

Но вы поглядите, как отвращаются они от дуновения всего достойно воскресшего, казавшегося этим упрямым, этим принципиальным носителям генералиссимовых хромосом навек погребенным и отлученным от права быть в памяти и в жизни народной!

Поглядите, как корчит их — словно попали-таки они наконец в руки Бога Живаго — от «Реквиема» великой женщины, от ужасной, отверстой бездны «Котлована», от вечно щебечущей птичьей фигурки поэта, свободно, то есть истинно по-птичьи, серанувшего прямо на те самые злодейские штиблеты, а заодно и на макушку рябой хари, и поплатившегося за то бесстрашное озорство безумием и смертью.

Всех и всего, от чего корчит больную и кирзовую нашу, ординарную, имперскую, лакействующую отечественную бездарь, не перечислить.

Как отвлечь бессовестные нетопыри но-

сопырки самых жалких жертв «лучшего друга всех народов» от пары его шевровых палаческих штиблет, на мысках и рантиках которых никогда не запечься ни кровище, ни слезе, ни кожице невинной, ни звездному крошеву искромсанного мозга?

Как пробудить сокрушительный стыд в предателях кровоточащей памяти о всех униженных и оскорбленных за то, чем все они глумливо и столь по-рабски, столь подобострастно гордятся, — стыд за любование тем самым праздничным тостом генералиссимуса, лукавенько поднявшего фужер с ершом из русской крови и слезы да и хлобыстнувшего тот фужер с безнаказанной улыбочкой урки-кровопийцы и с торжествующе наглым намеком на беспредельное долготерпение вырубаемого им же русского народа, — как?

Того не ведаю и не знаю, но молюсь за исцеление обезумевших трупопоклонников и за безгливое отвращение их губ гунявых от пары ужасных штиблет...

— Может, Степ, посошок, как говорится, на дорожку? — тихо и уважительно спросил участковый.

— За рулем я. Понял? — с явным злопамятством на что-то намекая, сказал Степан Сергеевич.

— Ты, Степ, извини уж, прошу тебя, за отнятые права и навечное их лишение. Я ведь только отнял. Ты был на День Победы под опасною балдою. Хорош ты был, Степ. Сель-

по протаранил на хер. А лишала область. Прости напоследок.

Странно мне все ж таки вспоминать, что непонятно, по каким причинам царил в отношениях между двумя этими нелепыми игроками душок такого вот благородного соответствия игровым ролям и роковому жребию каждого.

Ни тени сомнения не было у Степана Сергеевича в обреченности на немедленный смертельный итог всего этого соревновательного безобразия, а у участкового — в своем заведомо благополучном из него выходе.

— Область я, Степ, просил обмозговать крутое лишение прав навек, но область, сам знаешь, не район, где я с Первачом по-корешам... Область — она в беспределе... хочешь, я от стакашка откажусь, а вы жрите тут сами — и провались в жопу джунглей вся эта вьетнамская игра в нашу русскую рулетку! А?

Случайное это казенное словцо «область», видимо, совсем отвратило Степана Сергеевича от настроения прощания и придало решительного отчаяния последним его действиям. Он только вымолвил, не глядя, правда, на спящего Федю и не обратив внимания на благородное предложение партнера:

— Зря разбуджу человека...

Затем поднял револьвер, мысленно прицеливаясь, приладил его к виску, и в этот миг мелькнул в глазах его ужас воспоминания о

чем-то крайне важном, что, показалось ему, совсем упустил он из виду.

Может быть, это была мысль о записке, то есть о последних словах к жене, заботливо совершавшей колбасно-апельсиновый рейд в столицу?

А может быть, была это просто немая просьба позаботиться о чьих-то стареньких, но свежестиранных кальсонах, которые коготками стянул с веревки котенок и игриво поволок их по земной пыли в подзаборный малинник?

Именно за ними, этими некогда сиреневыми, к тому же чужими кальсонами, случайно проследовал в тот последний момент взгляд Степана Сергеевича, так и не сумевший, однако, превозмочь инерции сумасбродного движения своего же родственного указательного пальца.

Человеческое воображение таково, что я, зажмурившись, как бы оглох от предвосхищенного выстрела, и сердце мое тягостно сжалось от боли и непоправимого несчастья. Но, открыв глаза, я увидел все еще живого и невредимого Степана Сергеевича и даже подумал, что он, одумавшись вдруг, шмальнул мимо.

Рука его находилась еще в том же самом угрожающем положении — с дулом револьвера, не отнятым от виска, — но с побелевшим его лицом да и со всей фигурой, только что еще производившей впечатление какого-

то наспех упакованного, неодушевленного предмета, совершалось существенное преображение.

Словно жизненная Сила человека, одною ногой преступив было в ночи душевного ненастья роковой, соблазнительный порог, стукнула себя вдруг по лбу, опамятавалась вдруг и воротилась обратно за чем-то случайно позабытым.

Тогда в мрачной темноте телесной избушки вновь тихо занялся фитиль светильника, безнадежно уже чадивший горестною гарью и поминальным стеарином, и всполошенные тени существования охотно затрепетали в так и не покинутых никем из живых стенах бедного жилища.

Фигура Степана Сергеевича была как бы парализована страхом задуть ту самую свечечку неосторожным порывом внутреннего движения. Только натуральная тяжесть револьвера медленно отводила от виска правую руку.

Вдруг произошло нечто безобразное в совсем ином роде. Я взглянул на участкового, и брюшину мою буквально вздернуло к горлу и скрючило от спазмы смеха. Я схватился, задохнувшись, за живот и начал сползать с табуретки наземь, в ужасе, кроме всего прочего, от мысли о подобной же кончине родного дяди, стебанутого смертельным ударом в пароксизме нелепого комического впечатления. Помню еще, что мне было невыносимо стыд-

но в тот момент за беззащитность мою перед своевольной стихией столь неуместного, пусть даже беззвучного ржания.

Но и по сей день не уверен я, что какой-нибудь иной свидетель жутковатой дуэли смог бы оказать вихрю той таинственной стихии действенное сопротивление. Сила ее неизмеримо превышала силу переживания беды происходящего безобразия. Стихия эта сметала со своего пути все, что могло ей возразить или успеть обдумать тайную природу ее возникновения, не оставляя ни для того, ни для другого ни мгновения времени.

Общий вид участкового был неопишум. Мало сказать, что фигура его моментально стала какой-то вытряхнутой, сиротливой и крайне обиженно, крайне наивно удивляющейся внезапной потере всех преимуществ, всех шансов, только что обещанных ему, но вдруг его надувшим Роком. А игра выражений, произошедшая в лице его, совершенно не подготовленном к такому вот резкому обороту дуэльных событий и к ужасающей, не разорванной выстрелом, взыскующе обращенной лишь к нему одному тишине, казалась какой-то гениальной и неотразимой клоунадой.

Никогда прежде, вне цирковой арены, не видел я лица человека, которое на глазах моих то надувалось бы и багровело, то шло пятнами, то искривлялось бы, косорыля по всем направлениям, то совсем белело. Вопи-

ющие к кому-то письма смятенных мысленных значений пробегали по нему, беспорядочно сменяя друг друга и оставаясь для меня, задохнувшегося от постыдного хохота, беспросветно темными символами смерча, безжалостно бушевавшего в существе ближнего.

А руки участкового Толи казались — от его внезапной, сокрушительной растерянности — не натуральными вовсе руками, чье назначение в совершении как всяких обычных, разумных, так и необычайно глупых действий, но тряпичными рукавами затрапезной марионетки.

Согнувшись, вернее, как-то бескостно обломавшись в пояснице, он просто рухнул на табуретку.

У меня еще хватило ума прикрыть лицо руками, чтобы показаться не ржущим беззвучно, а сотрясающимся от истерических рыданий.

Привели меня в себя стук револьвера, не положенного, но брошенного на стол, голос Степана Сергеевича и последовавший затем, после некоторой паузы, ответ участкового.

— Побаловались — и хватит. Притырь свою «дуру». Я тебе, Толяна хренов, и так налью, — сказал испугавшийся за чужую жизнь Степан Сергеевич.

— Ну, уж эт-та-то мы однозначно поебываем... Мы в дуэльных проблемах на Пушкине и Лермонтове дула принципов своих по-

гусарски, бля, продули, а не по-маяковски и не по-есенински. Мы в истории и в родной литературе — не последние, гад буду, люди! И ты мне, Степ, не перечь сейчас, — раскураживая самого себя, решительно заявил участковый.

— Один игрок вправе освободить другого от всех обязательств, не нарушая при этом кодекса чести, — вякнул я, обретя дар дыхания.

Участковый — он вполне успел взять себя в руки — удостоил меня усмешкой презрения и неизмеримого превосходства.

— Тогда уж ты сам, что ли, жахни в виде посошка, — сказал Степан Сергеевич, поглядев на револьвер так, словно примеривался немедленно выкинуть его вон из рокового круга безобразного соревнования.

Участковый не только не обратил внимания на предложение жахнуть, но быстро схватил оружие со стола и с ухарским воплем «и-э-э-х!» — так вопят, выскочив из парилки, перед нырком в ледяную прорубь, дрожа при этом каждою клеточкой плоти и стигматически багровея, — с воплем этим, перешедшим затем в краткое мычание, сунул он дуло револьвера в рот и, зажмурив глаза, нажал курок.

Раздался только щелчок...

Я и сегодня вспоминаю о нем, о щелчке этом, как о наиболее, так сказать, серьезном и значительном из всех услышанных мною

в жизни отдельных, самостоятельных звуков. Мало сказать о нем, что это был звук истинного счастья или же редчайший в коллекциях счастливых случаев звук победного шалабана по личному лбу самого посрамленного Рока.

Звук этот тоже был совершенно неописуем. Общий наш слух переполнила чистой воды необыкновенность, мгновенно отстоявшаяся в непостижимой продолжительности звучания неприметного щелчка, и еще нечто такое, что поражало явностью единоутробного его братского родства с небесным светом, при всей огромной разнице их обычных скоростей.

И я как-то обалдело, — возможно, в пьяном, глупом вдохновении, возможно, просто покинутый на миг всякой логикой, — поэтически думал, что ежели Звук младше, то Свет намного быстрее гаснет, а ежели Звук старше, то брат его — Свет — дольше идет, поскольку он одинок и нету у него в жизни никакого эха. А отблески молчаливые — не в счет...

Не знаю, как долго внимали мы ему — звуку того последнего щелчка. Но внимали так, как внимают дети невнятной речи, то есть без малейшей с обеих сторон попытки перевести чудесно темное звучание в ясный смысл.

— Степ, — прошептал вдруг участковый. Степан Сергеевич пододвинул к нему бутыл-

ку сивухи. — Я не о том, Степ, я насчет жизни хотел заявление сделать... — Видимо, каждое произнесенное слово как бы выталкивало онемевшего от потрясения человека из адской бездны в течение обыденной жизни. — Теперь, Степ, Сам *Бог* велел жажнуть нам с тобой на брудерштраф.

— Душа что-то мрази этой больше не принимает, — сказал Степан Сергеевич с некоторым даже удивлением и как бы прислушавшись к своей давно позабытой сущности.

— Я и сам, Степ, завяжу, вот те крест — завяжу, но ты уважь меня, мента проклятого, и прими одну на брудерштраф!

— Хватит с меня твоих штрафов, — беззлобно сказал Степан Сергеевич, разливая по кружкам нашим неблагородную жидкость.

— Так, Степ, в Кремле жрут штрафное шампанское главы государств, когда они мир на Земле устанавливают или миллиарды друг другу одалживают. Вставай давай!

Степан Сергеевич смущенно подчинился настырному давлению участкового. Оба они встали из-за стола, как обычно встают пьющие на брудершафт — вплотную друг к другу, неуклюже тыркаясь оловянными кружками и комично перепутывая суверенное чувство левых рук с точно таким же чувством рук правых. Затем кое-как выпили, слегка обоюдно облившись «смоленским шампанским».

Некоторое время стояли они все в той же

дружественной позе, и почему-то показалось мне тогда, что и тот и другой, ничем не успеv ни занюхать выпитое, ни подавиться, представили себя не с кружками самогона в руках, а с револьверами, приставленными к голубеньким ручейкам жилок жизни, замершим на висках.

И любой из них в силах, согласно уговору, нажать курок первым, с ходу обеспечивая себе жизненную удачу, но оба они вправе либо выстрелить одновременно, либо одновременно отказаться от такой мудацкой пальбы.

— Да-а-а! Дела, бля-грабля! — задумчиво произнес участковый, высвободив руку и явно набравшись в том молчании некой мудрости. — Живи, Степ, долго. И падлой мне быть навек, если область я не выебу в райком и правишки тебе не верну. Скоро жисть, я тебе говорю, возобновится вместо дрисневого застоя.

В голосе, в словах и жестах участкового было столько, так сказать, непонятного в тот момент самоотстраненного боления за общую жизнь и за своего бывшего врага, что я почувствовал никак не предвиденную гордость за Человека, который «звучал» благородно и просто.

— Есть у меня такая маза, как сказал Шаг Вперед, то есть информация, Степ. Инакомыслить теперь начали на самом верху. Вот до чего дело дошло. Призрак кризиса бродит

возле Мавзолея, как лицо БОМЖ по улице Горького.

— Травишь ты все, Анатолий. Нету у тебя никакого своего человека в Кремле, — без тени злобной раздражительности сказал Степан Сергеевич.

— Вру, Степ. Вру. Восторженно вру и тоскливо. Но мы все врем, потому что, как сказал Два Шага Назад, жисть, господа, начинается мучительно тяжкая и без личной мечты можно загнуться, — поправившись после поддачи на брудершафт, легко согласился участковый. — Я, если хочешь знать, мечтаю о своем человеке в Кремле. Везу, например, тебя — свободно инакомыслящего — в область, а сам беззаветно мечтаю. Ты в кузове валяешься, выкрикиваешь такое, что весь УК РСФСР дымится, матерно перечисляешь всех наших руководителей с семнадцатого года. А я, зубы сжав, мечтаю... человек этот свой в Кремле — она. То есть женский пол. У него, вернее, у нее допуск имеется высшей секретности. Но не за это дело, а за недоступность красоты, Степ, которая спасет весь мир, гадом мне быть до полочки. И она обслуживает обеду-банкеты на самом верху. Деятели эти под балдой вроде нас трекают. Поддадут — и повело их рассуждать. Что и как? Может, Зимний отдать обратно? Пусть сами распоряжаются, если ишачить никто уже не хочет, но каждый только водкой в потолок секает. Горбачев молоденький высказывает мысль,

что если б мы тогда почту с телеграфом взяли в феврале, а не в октябре, то сейчас бы и письма, и телеграммы приходили месяца на три раньше. А я тоже лежу в нашей однокомнатной, в Черемушках, и гляжу хоккеем. Потом приходит она с того банкета. Я — с ходу под одеяло, а Олимпиада Марленовна душевно так говорит — поигрывая ляжечкой! — говорит она с кремлевской растяжкой: по-го-о-ди, То-олевой, сначала выпей и закуси-и-и. Сымает она с себя передничек с брильянтовой заколкой и эту самую... забыл, как корона у официанток называется... ну, типа боярыни Морозовой она... под общим названием «диадема»... Неважно... Открывает моя любовница... мы ведь еще не расписались, потому что я по-смоленски, по-нашенски, ее выдерживаю, Степ, как огурчик в рассоле, и чтобы не покрывалась пупырышками от превосходства на высшем уровне... открывает она, короче говоря, импортный кейс из дублинки крокодила вперемежку со змеей и на электронных молниях. И вынимает оттуда знаешь что, Степ?

Чистосердечная энергия мечты участкового была такова, что Степан Сергеевич, полностью захваченный ею, нетерпеливо воскликнул:

— Ну!!!

— Я, может, и вру, — сказал участковый, обращаясь ко мне как к литератору, — но мечтаю я самостоятельно, без бригады запа-

ренных кляч, которых Бровеносец подхлестывал к своей премии, сука такая, по целине Малой земли... И вынимает оттудова, из заначки своей банкетной, Олимпиадушка-оладушка... балык особого копчения... окорочок, со слезою сочувствия к народу нарезанный... полдюжинки папиров, то есть партпирожков с секретным фаршем из черной икры и царской визиги... тут и заливные гребешки из фазанов высыпаются из кейса... «Столицу» вынимает недопитую... пиво-раки, конечно... сигареты «Верблюды»... потом пару орденов Ленина с медалями за разные взятия... Я уверен, Степ, что деятели их теряют по пьянке, а потому и награждают ежемесячно друг друга... Выпиваю. Закусываю солидно. Ты, говорю, птичка в белоснежном фартучке, осторожней жрачку-то притыривай, а то обшмонают у башни Спасской, когда канаешь промеж ног с охотничьей колбаской, рифмованно говоря... ха-ха-ха... А она на колени ко мне — прыг-прыг, чирик-чирик... Обслужу, отвечает, электроникой шмонают, которая закусон не берет... Ну до *этого*, как говорил поэт Маяковский, у нас еще не доходит... Маяковский же, товарищ писатель подтвердит, тоже очень обожал поигрывать в РУРУ прямо со Сталиным, но Сталин, сука такая поганая, говорит, что, мол, стрелять будем не в лоб, а в сердце, потому что мозги наши гениальные не имеем мы никакого права разбрызгивать по люлю, то есть по хрусталю люстр Большого Георги-

евского зала, Вова. Почетное даю тебе право стрелять первым до тех пор, пока не застрелишься. Потом уж я примусь за это дело. Ну, Маяка охмурила такая рифмовка диалектики природы, и он с первого раза зашмалялся. В инфаркт себе попал — тютелька в тютельку. Чуял, что кулич в стране начинается, ныне недоразвенчаный брежневской семеечкой.

— А Сталин? — недоверчиво спросил Степан Сергеевич.

— Сталин, Степ, был гений подлянок в аппаратных играх партии с народом. Он думает: что я, мудака и поэт, что ли, я лучше пулю в лобие себе пушу, а не в сердце, где никакая фасоль не растет... Но хрен с ним, с куличом, то есть с культом личности... Прыгает, значит, Олимпиада у меня на коленках, но до этого дело у нас еще не доходит. Сначала я информацию получаю из первых рук насчет перемены общего курса загнивания на покаяние в промышленности группы А и Б, а также разврата детей номенклатуры в плане гашиша и пидарастии... Я же не с потолка беру эти данные, Степ, и не из *мечты* — поверь... у меня ведь кореша в Москве... Ну, потом я еще выпиваю и еще... А уж потом...

Видимо, участковый дошел в мечте своей до таких пределов и до такой ее на глазах исчезающей кромки, за которыми вместо обворожительной галлюцинации вновь открывается трагически очухивающемуся взору

мечтателя реализм, как говорится, действительной жизни с зияющей на ее краю бездной безутешного отчаяния.

— Потом, Степ... ты погляди вокруг. Ни одной бабы стоящей не осталось ни в районе, ни в области. Участковый, заметь, лейтенант, то есть почти майор в отставке, ре-гу-ляр-но живет со вдовами вышесреднего возраста и с прочими легкомысленными авоськами. Вот до чего дело дошло. Все девки наши, вся наша смоленская клубника со сливками пода-лась к гостинице «Националь». Они там за валюту раскрывают объятия дяде Сэму, бляди такие, великую нашу Соню Мармеладову компрометируют, а я тут весь семенной роди-мый фонд халатно, можно сказать, по ветру развеиваю. А ты говоришь, «ве-ло-си-пе-ди-за-ция». Иногда кандехаю на велосипеде, а собственная душа показывает на меня же пальцем и мне же и говорит: ну, чего ты себя везешь, козел, — рулем руки занял? И куда ты вообще едешь-то, идиотина? А я продол-жаю ногами вертеть, педали накручивать. Куда стремлюсь — не знаю. Сейчас вот чуть не добрался до конца Света с РУРУ твоей без-зумной.

— Чего еще пророчат в твоих верхах? — спросил Степан Сергеевич. — Только ты ври поменьше и пореже ширинку свою расстеги-вай, козел похоти случайной.

— Да, Степ, ты прав. Я — натуральный козел с голубыми трико, на рога накинута-

ми... Пророчат, что водяру верхи немедленно запретят всухую и начнется борьба с нетрудовыми доходами низов, Степ... ты уж извини. Но я лично с этим планом не согласен. Нас он обойдет теперь стороной. Я душу положу на алтарь Отечества, но своей участковой волей предотвращу разрушения темниц, то есть теплиц-кормилиц, и торжественно закрою служебный глаз на самогонку алкоголических вооружений во вверенной мне местности, душа из них вон, из этих кремлевских верхов! Это разве не беспредел, когда мы тут последних лягушек обгладываем и к тому же жлобски обсасываем, а верхи херовы фазановые привилегии хавают из малахитового царского сервилата, прости, сервиза! Нам с ними не по пути. Мы ваче самостоятельно и с чистой совестью жертв утопии двинемся к покаянью... Но пока что мне, Степ, не прет в карьере. Невезунчик я. Галя Брежнева один раз остановила около меня свою «Чайку» и спрашивает с намеком на резкую внебрачную близость: «Эй, старшой, где бы тут лошадей перезаложить и с легким томлением метелицу на печке переждать?» Я варежку разинул, палку вокруг пальца покручиваю игриво и отвечаю, что за рулем у нас, по идее, не пьют. Она смерила меня цыганским взглядом с ног до головы. Ду-у-рак, говорит, и поехала дальше. Там и встретился ей Чурбанов наш. Этот прохиндей не стал церемониться — пройдемте, мадам, в постельку, там я вас разок-другой

штрафану, и мы коньково-быстреньково разберемся-гужанемся с эшелонами высшей власти... Сейчас, Степ, я мог бы быть Чурбановым, а не он. А тебя завхозом вызвал бы к себе на дачу и сразу врезал бы капитана. Гад буду. Нет, Степ, тебе я бы подполковника дал и генеральскую виллу с картофельным огородом. Клянусь должностью и чином, хотя я — козел, прозевавший на посту очень важную крупскую.

— Кого-кого? — переспросил Степан Сергеевич, видимо проникаясь опасениями насчет душевного здоровья участкового.

— Коррупцию.

— Мне послышалось «Крупская».

— Это, Степ, с резьбой у тебя что-то в головке блока случилось. Я сказал «коррупция». А Крупская пучеглазая, между прочим, мне ваще ни к чему.

— О'кей, проехали мимо Крупской. Надо было тебе честно регулировать движение и не тянуть с людей трешек с пятерками. Нехорошо это. Люди и так, без тебя, инвалиды поганой Системы, а ты с них тянул и тянул, мотоцикл бессовестный.

— Пребывал в заколдованном кругу, Степ. Все сейчас берет, и я клал «лысых» за крагу. Почему брал? Стиснут был алиментами от четырех баб. Я судью спрашиваю: на что мне теперь прикажете питаться? На гривенник в день? А он отвечает, что чем меньше вы будете мяса жрать, тем спокойней это будет для

вас и для всей нашей страны. У меня, Степ, хронический, если хочешь знать, донжуан. Нездоров я в этом смысле. Амур мне в сердце целится, но попадает сам знаешь куда. Беда.

Мы со Степаном Сергеевичем от души захохотали. Участкового — как это бывает с людьми выздоравливающими или избежавшими большой опасности — одолевала ненормальная словоохотливость. Он продолжал свой рассказ:

— Умнейшему одному адвокату отдал я по глупости все взятки, накопленные за крагой. Он меня тащит в женскую консультацию — закосить экспертизу.

— И ты, дубина, штаны скинул? — все смеялся Степан Сергеевич.

— Нет. С меня снимали исключительно мозговые данные. Выяснилось, что нырнул я однажды в юности в Жабуньку и врезался лбом в корягу. С тех пор правая половина моего мозга начала озабоченно давить на левую. Но на суде такая хитрая масть не прошла. Судья сказал, что все это не травма, а донжуан, многоженство и половая распущенность. Я в последнем слове просто взмолился. Господи, говорю, пошли Ты мне с первого взгляда и до гроба одну-единственную двуспальную кровать или софу, в которой нежно располагалась бы не подлая дама первой и последней любви. Сделай, молю, Господи, чтобы возлюбил я русскую нашу литературу гораздо

сильней, чем слабовольных лиц противоположного пола. Цыганкой нагадано, что я, может быть, рожден литературным критиком. Но от молитвы атеиста, сам знаешь, толку мало. Это как письмо бросить не в почтовый ящик, а в Жабуньку или на ветер. И теперь, Степ, пошел я по рукам пенсионерок... Хотя это объективная удача жизни, что я пошарен из Москвы. Дело было совсем не в крупской, между прочим. Все мы каждый месяц начальству отстегивали, и оно сквозь вуаль смотрело на наше робингудство. Пошарен я был из-за дурной природы моего жизненного невезения. Запоминай, писатель херов, — дарю тебе великодержавно, в смысле добродушно, все фабулы-хренабулы одной лишь горькой страницы своей нелепой автобиографии. Я, конечно, информирован был своими собственными глазами, что в московском застое завелись виды не нашего секса, но то, что он выйдет из полового подполья, — этого я не ожидал. Останавливаю один раз иномарку, правда, с вполне патриотическим номером. Права, говорю, и документ на вашу Мерседес Фольксвагеновну, а также прошу вылезти из салона и честно дыхнуть мне в глаза. Степ!.. Степ!.. Он вылазит, качая как-то очень странно бедром в кожаных брючках, встает передо мной на цирлы, ибо ростом я выше того же Чурбанова на голову, если не на две, открывает рот и... Степ!!! Он взасос целует меня на посту! Я, гад буду, честно растерялся. У меня

ведь в башке имеется инструкция только на-
счет нападения и угроз из-за угла, а насчет
засоса со стороны задержанного мужика —
ни словечка в ней не запечатлено. Целоваться
эта сволочь педрильская научилась перво-
классно, кстати говоря, пока мы тут с тобою
тащили мослы к коммунизму. Они времени
не теряли даром. От такого засоса у меня пу-
пок прям к горлу передвинуло. Если б я дрых
в седле мотоцикла, то и вовек не допер бы,
что не дамочка это меня целует. Ну, я тут же
беру себя в руки и вполне корректно осво-
бождаюсь от внезапного такого обжима. Хва-
таюсь за вот этот наган. Наган — на месте.
А то ведь Гильтяпов наш жарил однажды
шлюху в коляске мотоцикла, а она у него в
экстазе оружие выстегнула из кобуры и ушла
в ночь. Гильтяпов хватился в отделении нага-
на и хотел застрелиться, а оружия-то и нет.
В общем, от педрилы духами разит, но, чест-
но говоря, не водярой, а дорогим коньяком.
И вот, странное дело, хочу правишки у него
отнять или сныкать стольник, но почему-то
не могу. Чувствую от того засоса — только не
подумай, что секс, — какую-то вялость, слу-
жебную нерасторопность и душевную обесто-
уженность. Поезжайте, глупо говорю, и
возьмитесь за ум, чтобы возвратиться в му-
жественные ряды нашего пола. В следующий
раз получите отпор не только в виде штрафа,
а за нападение на сотрудника органов в из-
вращенной форме Содома и Гоморры. О'кей?

Педрила отвалил. А я стою, Степ, холодрыга вокруг ужасная, перспектив у нашей страны никаких не осталось, кроме нормальных, пустой и пьяный троллейбус рядом со мною на столб налетел — стою, Степ, и думаю, что поцелуем, даже если он мужской, можно обезвредить даже врага. Понимаешь? Я даже попробовал так действовать через пару дней. Очередища была у винного перед самым Рождеством, а какой-то гад пузатый полез, сволочь, чуть не по нашим головам к прилавку. Я его беру за борта пальтугана кожаного, изо всей силы притягиваю к своей груди, резко чмокаю в самую разиню и говорю: ты что, падла, членом политбюро тут заделался, да? Ну он рукавом рот обтер и мирно свалил без бутылки — проняло его совесть. Но дело не в этом. Дергают меня к начальству, а оно топают ногами по ковру и орет следующим образом: «Мало того, что ты приспешник сионистов! Ты ко всему прочему еще и пи-да-рас! Вот, гляди, фото твои гомосековские!.. Они в реакционных газетенках вражеских стран пропечатаны!.. Ты поднастрал всему Министерству внутренних дел!..» Степ, ты не поверишь, но на снимке был я и приникший ко мне в засосе педрила. Я чуть не заплакал от обиды и ненависти к такому коварству, но винить мне было некого. Молчу. А там ор стоит: «Оружие — на стол!.. Партбилет — на стол!.. Погоны — в мусорную корзину!..» Вместо оправданий и объяснений я хватаюсь

за последнюю соломинку молниеносного маневра и внезапно чмокаю само начальство в его рычащее орало. Засос. Начальство, естественно, тоже фары на меня вылупляет и хлопает ими вполне обезоруженно. Тогда я тихо говорю: это же не значит, товарищ подполковник, что вы — пидарас. Мне этот гомс устроил провокацию, потому что в нашей стране еще очень слабо развиты Содом и Гоморра. От таких, говорю, засосов никто не застрахован — даже Чурбанов, и ваще я лично страдаю не от злоупотребления частью тела с черного хода, а от неумеренной тяги к случайным встречам с дамами любого поведения... До начальства аргумент дошел. Вот почему я теперь в ссылке и из органов не пошарен. Но все же будет у меня первая тургеневская любовь, Степ, будет! Взятки же после покаяния... со взятками я решительно завяжу, хотя почему бы не взять с сельпо или заготскота за их вражеские действия против народа?..

Мы помолчали после такого драматического рассказа. Федя, спавший, все так же уткнувшись лбом в согнутую руку, всхлипнул во сне и вздрогнул.

Степан Сергеевич встал, выдрал из коготков котенка те самые, бывшие сиреневые кальсоны и заботливо подложил их под голову спящему собутыльнику.

После этого никто из нас не знал, что делать дальше.

Но думается мне, что, несмотря на привычное в те поганые времена состояние безысходности и пребывание в трясине некой безответственности, все же встрепенулось в нас родовое чувство последнего какого-то предела на общих жизненных путях.

За ним, видимо, брезжило вовсе не мгновенное облегчение общей участи, не волшебное преобразование беспомощного нашего «винтикового» ничтожества в фантастически свободную рабочую силу и прочие вспомогательные чудеса, но брезжило самое главное — сокрушение всесильным временем обрыдших всем и вся нелепых нагромождений головоломной вымороченности.

А там, даст бог, каждый того пожелавший примется за собирание целого, безжалостно, неосторожно — хорошо еще, если не необратимо, — изодранного некогда на части. За складывание по картошечке, по страсти, по колоску, по куренку, по буковке, по дощечке, по волюшке, по обязанности, по тропинке, по милости, по почвинке, по совести, по прилавочку, по капле водицы — вплоть до некоторого хотя бы воссоздания в истерзанной нашей российской действительности Образа Истины и Достоинства трагического существования.

Странно, но даже в участковом — он был намного моложе всех нас — внимание к каким-то тайным движениям души стало вдруг сильнее страсти поддаться по новой.

Точным движением он вынул из барабана ту самую роковую пулечку и протянул ее Степану Сергеевичу.

— Притырь, Степ, свою и мою смерть куда подальше. А я доложу в рапортичке, что предупредил инсценировку ночного налета на сельпо заведующим этой грешной лавочкой с целью кражи излишков сахара в количестве одного выстрела.

Издалека донеслись до нас голоса женщин, возвращавшихся с продуктовой ношей из утомительного рейда, и в глазах Степана Сергеевича появилось выражение вины, любви и бесконечного сочувствия к близкой подруге своей жизни.

— Шмальни-ка ты, мечтатель кремлевский, пульку эту в воздух — дай салют над афганской могилой Женьки и в честь возвращения на родину женского отряда с «бациллой». Да и Федора пора будить, а то Катька даст ему сейчас просраться кальсонами этими по башке, — сказал он, притыривая бутылку и выкидывая в пустыню огородишка останки лягушек.

Участковый вложил патрон на место и, снова крутанув за спиной барабан, как бы повторил тасовку случая. Затем поднял руку и нажал курок.

Выстрел, оглушив нас, раздался на этот раз незамедлительно. Бывшие игроки странно переглянулись.

— Дела, бля-грабля, — потрясенно сказал

участковый. — Как смерть-то, сучка, играет, гадина, с нами! А?

— Федор... Федя, ты что? — Степан Сергеевич затряс дрыхшего и нисколько даже не вздрогнувшего от безвредного выстрела друга. — Вот придавил так придавил. Вставай, певец французских закусонов, — баба надвигается!

Он стоял над спящим и не мог увидеть того, что открылось мне — сидящему с ним рядом. Око Феде было отверстым и бессмысленно пустым. С уголка рта стекала на стол безжизненная кровь со слюною. Щетина на щеке темнела на моих глазах оттого, что сама щека быстро белела.

Холод неизвестности и тишина тьмы того света коснулись и моего лба, враз остудив его и напомнив о большей своей, чем обычно предполагаем мы, близости ко всему видимому и живому.

Но и до Степана Сергеевича с участковым быстро дошло, что человек вдруг помер — помер во сне. У него само собой либо разорвалось, либо целиком уравновесилось — до полной остановки — сердце.

Слишком затянувшиеся поминки, явная inferнальность сивухи, порыв истинного вдохновения и душевное горе, конечно, сыграли тут свою роковую роль — то была смерть поэта.

Голоса женщин все приближались и приближались.

— Братцы, я прибыл, так сказать, профилировать протокол кончины во сне, — умоляюще обратился к нам участковый, видимо припугнутый какими-то возможными последствиями этого смертельного происшествия для остатков своей карьеры. — О'кей?

Я поднял на руки тело умершего и положил его на травку под тусклыми мальвами.

— Надо ж... Мы ведь могли вместе предстать... Головоломен наш жребий, а вообще-то так и так — все подышают одновременно, — сказал Степан Сергеевич, как бы ставя все в себе на свои места этим странным тезисом.

Я не мог удержаться и попросил внести хоть какую-нибудь смысловую ясность в его странное оптимистическое звучание.

— В психушке одного инженера лечили от этой хорошей мысли. Но не вылечили. Он нам с утра до вечера внушал, что ежели самый первый человек — Адам, допустим, — помер тыщи лет назад, то время для него сразу кончилось — нету больше времени ни секунды. И выходит, что помер он в тот же миг, что все, все, все последующие поколения и, конечно, наш Федор, Царство Небесное и ему, и Адаму. Мне такое положение очень нравится.

— Не согласен! — вскричал участковый, охотно отвлекаясь от происшедшего, но чрезвычайно запутываясь в витках рассуждений. — Живем, можно сказать, в разных ве-

ках и эрах, а подышаем в одну секунду с Наполеоном или с Гитлером и Сталиным? Выходит, что, с ихней колокольни, я как бы и не живу больше, а мне только кажется, что это они дуба врезали, тогда как врезал его лично я? Это они, может, подошли одновременно со мною, но я подохну в другой исторический момент. Зачем я тогда позже живу? Не один ли мне тогда хер — что жить, что помирать? Да и стреляться в РУРУ нечего было в таком случае. Я не хочу одновременно. Не согласен. Лично мне это не в жилу. Например, ликвидирую в погоне рецидивиста. Ужас — что зверь этот наделал. И как это он подышает одновременно с гражданином Икс и с двумя гражданками Игрек и Зет, если он их сначала обокрал и угробил, а потом пропивал тряпки два месяца?

— Так вот и подышает даже убийца — одновременно с убитыми им невинными душами, — сказал Степан Сергеевич. — Потому что там, еще раз подчеркиваю, времени нету. С нашей точки зрения, дубина ты регулирующая, мы еще сопим в обе норки — живем. Но с точки зрения Федора, мы — с ним, тама. Живыми, конечно, быть приятно, но зато нам тяжелее, а ему легче, потому что мы с ним расстались, а он с нами фактически — нет. И я лично с таким фокусом бытия очень даже согласен. Оттедова глянешь — все померли одновременно. Тут оглядишься — все одновременно живут, хотя поминки

следуют за поминками. Всеобщим же Воскресением даже не попахивает. А как приятно было бы воскреснуть всей честной компанией... Очень это было бы приятно... А знаете, ведь мы все тоже еще порем...

Степан Сергеевич сказал это с такой какой-то интонацией пронзительно счастливой тоски ожидания в голосе, словно он говорил не о смерти и был не рано состарившимся человеком, а мальчиком, задолго до дня рождения друга или до Праздника Светлого Воскресения предвосхищающим в душе очередную поездку в гости и для которого поэтому будущее вообще никогда не бывает безрадостным и темным.

— Они ж тебя, Степ, вроде бы не долечили, — крайне сочувственно сказал участковый, найдя вдруг выход из умственного лабиринта, в котором он еще плутал по инерции. — Куда ни глянь — везде у нас халтура и бесхозяйственная бордель тет-а-тет, как говорил покойный.

— Тебе самому надо уличное движение мыслей регулировать в голове. Эх, Федя... Что ж ты, Федя? Кто ж теперь за тебя детей рожать будет? Кто над несправедливостью времен восторжествует? — засетовал Степан Сергеевич, подойдя к помершему другу и уложив его так, чтобы он уже не показался какому-нибудь постороннему человеку временно уснувшим пьяницей родной Жабуньки.

— Непорядок, — энергично и отчасти бестолково воскликнул вдруг участковый. — Даже померший мужик должен быть побрит в такую минуту и перед самым явлением дамы разрыва сердца. Я его сейчас враз «поброю». Как огурчик в банке будет — с последними пупырышками.

Он быстро направился к своему старенькому велосипеду, дремавшему на травке под забором. Отвязал портфель от багажничка. Достал футляр с электробритвой «Нева».

Мы, без указаний поняв, что надо делать, перенесли покойного поближе к столбу.

Участковый тем временем как-то подключил бритву к той же самой энергосистеме нашей Сверхдержавы, отсоединив от нее все еще горевшую на халяву электроплитку.

Должно быть, живой человек с трудом выдержал бы такое бритье старинной «Невою», хотя участковый выбривал Федино лицо не казенным образом и даже уговаривая безжизненного клиента потерпеть, а заодно и простить, как он выразился, «промышленность группы Бэ за жестокую халтуру качества бесстыдно выпускаемых изделий». Он также пообещал Феде, что непременно «поброет» его перед религиозно-гражданской панихидой, поскольку борода «снова, конечно, отрастет из-за разгона жизни волос и ногтей после врезки дуба».

Затем причесал своей же расческой Федины волосы, свалявшиеся в поминальном за-

пое, сказал, что «в таком виде покойник вполне теперь может быть представлен и тут и там», и попросил Степана Сергеевича поторопиться.

Степан Сергеевич просто-таки заставил себя пойти навстречу деревенским женщинам — сообщить им всем о случившемся.

Шел он, подавленно сторбившись не столько от наваленного жизнью на душу за все прошлые годы, сколько за последние полчаса.

Участковый пылко дал вслед человеку, потерявшему единственного друга, ряд деловых наставлений:

— Ты, Степ, первым делом сумки возьми у Катьки из рук. И с ходу успокаивай. Скажи, что под постоянным током она теперь будет, одной, мол, тебе, Катька, на столб поутрянке не вскарабкаться. Толяна подключит сегодня же. Понял? У нее — глаза на лоб: как так «одной»? А ты тогда быстро развивай тему и говори, что у жизни есть рифма такая хитрая и точная, то есть смерть. Поэтому, скажи, в том смысле сногшибательно повезло человеку — позабыл Федор дышать во сне. Дорифмовался, мол. Бабу надо загодя успокаивать, когда мужик дуба дал... Но если ты ее кидаешь по-флотски, с вывихом настроения, то лучше успокоить потом. Так бабе легче удар судьбы перенести... Порадуй также, что теперь хоть для поминок жратвы навезла Катька навалом — как чуяла. Бабы все чуют.

Ее иногда бросить не успеешь, а она, правда что, од-но-вре-мен-но скулит, ноет, скосорыливается, пессимистка. Так жалко ее станет, что и впрямь бросаешь намного раньше, чем планировал. У них ведь — интуиция, а у нас — донжуан. Беда... Скажи, значит, Катьке, что все мы, включая трупоносца Брежнева, можем только позавидовать Федору на счет такого замечательного появления в Царстве Небесном и что гроб с музыкой правление выделит на этот раз бесплатно. А также од-но-вре-мен-но. За это я отвечаю. Душу выну из проказы бюрократии!

Степан Сергеевич, как бы существенно подбодренный точным знанием того, что ему теперь говорить, кивнул с некоторым облегчением, выпрямился и по-житейски заторопился навстречу несчастной вдове, обвешанной сумками, авоськами с апельсинами и гирляндами бубликов...

Кромвель, 1989

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Николаевич

3

Маскировка

87

Пуру

165

Юз АЛЕШКОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Выпускающий редактор *Е.В. Толкачева*
Художественный редактор *Т.Н. Костерина*
Технолог *С.С. Басипова*

Оператор компьютерной верстки *И.В. Соколова*
П. корректоры *В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.

Подписано в печать 15.12.99. Формат 70х90/32

Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Объем 8,5 печ. л. Тираж 15 000 экз.

Изд. № 1149. Заказ № 103.

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

Получить подробную информацию о наших книгах и планах, авторах и художниках, истории издательства, ознакомиться с фрагментами книг, высказать свои пожелания и задать интересующие Вас вопросы Вы сможете, посетив сайт издательства в сети

Интернет: <http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени
ГУП Чеховском полиграфическом комбинате
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
142300, г. Чехов Московской области
Тел. (272) 71-336, факс (272) 62-536

Оптовая торговля:

«Клуб 36'6»

Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90,
523-25-56, 523-92-63

E-mail: club36_6@aha.ru

Книжная лавка «У Сытина»:

125008, Москва, пр-д Черепановых, д. 56
Тел.: (095) 156-86-70 Факс: (095) 154-30-40
OCR Давид Титиевский, апрель 2020 г., Хайфа

ISBN 5-264-00196-0



9 785264 001963 >

РСФСР тов. Максменко;
йте нам школу-интернат. Обязуем
ать ее образцовой!» У него наверня
получится. В институте Виктор не
ко хорошо учился. Он заведовал раб-

Собираясь группами и в одиночку,
смагивают выпускники направления
работу. Скоро и торжественных соед
ных в институте. Получат еще од

ков. Наука в нашей стране стала
во народный закон. Наука ин
пользу народа. Наука имеет
ного. Наука имеет право читать
благополучия и культурного ур
дающих.

Огромные успехи отечествен
ности благодаря неограничен
которые предоставля
для творческой
постоян

Советско

Юз Алешковский

Юз Алешковский

Государственный комитет Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ по фундаментальным наукам. Государственный комитет СССР по координации работ по фундаментальным наукам. Государственный комитет СССР по координации работ по фундаментальным наукам.



75701
10-00

**НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

**НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**